



В эту книжку вошли три мои повести-воспоминания. В них рассказана о трех совершенно различных временах моей жизни, но вместе составляющих некое целое.

"Московский звонарь" — рассказ о моей дружбе с удивительным музыкантом, обладателем уникального слуха, рассказ о его судьбе.

Далее идут воспоминания о тех годах, когда я жила в Сибири, а третья часть повествования относится к моему краткому пребыванию в маленьком городке Казахстана, куда меня забросило случайно, но память о котором осталась во мне навсегда.

АНАСТАСИЯ
ЦВЕТАЕВА

*АНАСТАСИЯ
ЦВЕТАЕВА*

**МОЯ
СИБИРЬ**

МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1988

БК 84 Р7
Ц 27

Художник В. МЕДВЕДЕВ

4702010201—451
Ц 083 (02) — 88 Без объявл.

ISBN 5—265—01017—3

© Издательство «Советский писатель», 1988

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОЯ СИБИРЬ

А. ЦВЕТАЕВА

МОЯ СИБИРЬ

ГЛАВА 1. ПУТЬ И ПЕРВЫЕ ДНИ НА МЕСТЕ

Наш этап из Новосибирской тюрьмы был в день мокрый, июльский. У грузовиков опущен задний борт, но усталые люди не хотят ждать. Мужчины тащат вещи, лезут, становясь на колеса, огромные, серые, скользкие улитки, полувросшие в мокрую землю. Мы едем в ссылку «навечно».

Есть среди нас слабые, неумелые. Всем им, успевая туда и сюда, подает помощь худенькая, с проседью женщина: быстро и ловко втаскивает неловкую за руку, от другой принимает чемодан, тюк, успевая и пошутить, и ободрить, усадить, попросить подвинуться, — словно всю жизнь только то и делала. Что удивительно — в этот пасмурный час ее слушались. В каком-то быстром движении она повернула лицо — меня обдала синева ее глаз. В худобе лица они огромны и так добры, так улыбчивы, что меня осияло покоем: чудесна жизнь, если есть такие люди! Какая душевная воспитанность, какое самообладание!

Машины грузно, медленно движутся по дороге. Застряв, останавливаются. Женщин просят сойти; мужчины, все больше пожилые, дружно раскачивают кузов. Садимся. Путь продолжается. Идет дождь. Закутанные кто во что, радуемся, что не осень — не заболеем! Мысленно мы уже там, на месте назначения, в сибирском селе.

Грузовик, где сижу, везет бочку с бензином, она тяжело подрагивает на ухабах, рискуя краем попасть по ногам. Подобрал их, сунув вбок, напряженная, как струна, сижу на своем узле; пытаюсь увидеть окрестность — тщетно: дождевая завеса скрывает все.

Ехали уже третий день, когда в сгустившихся тучах — молния! Загрохотал гром. Дождя нет. Молния! Моментальным снимком! Взрезав мглу, ослепительно даря пейзаж. Мгла. Грохот! Гора грохота! Гроза в сухом небе — зловеща.

«А если молния ударит в бочку?» — молнией мысль.

Молния! Обвал грохота... Громовые удары рассыпают лавины грохотов. Молния! Гром. Град. Струи дождя. С неба светлыми каплями — успокоение...

Спасенный бензин тяжело плещется в бочке. Привстав, усилием ступней сдвинув узел, блаженно сую ноги в другой бок, разогнув колени. Дождь стих. Привал.

Не в ту ли ночь мы заночевали в деревне? Без света и без еды — все доелось. Черную мокрую ночь трудно забыть. Но — прошла!

А наутро мир заново молод. Лезем в грузовики, как в родные дома. В тучах прорези синевы. Треть пути осталась? Еще как доедем!

— Знаете, как моя сестра написала, Марина?

«Больше балласту — краше осанка!»

Отзыв соседки:

— Прекрасно сказано! — Она снова стоит, подавая руку влезавшим.

В разрезы туч — лучи, и мы видим дорогу и короткую вереницу машин. Сибирская равнина расстелилась во все стороны, и мы отрезаем и отрезаем пространство, отбрасывая его назад. Четвертый день... Пятый день. Просят сойти.

Голос:

— Граждане! Остается двадцать километров. Почва болотиста. Ехать дальше нельзя. Вещи повезут. Кто в сапогах? Слабых повезут волами. Волы пройдут! Они вездеходы!

Я вызвалась идти. Меня не приняли: неподходящая обувь. Возраст был еще сходный: за пятьдесят.

Сижу с двумя старухами и стариком на длинных досках, прилаженных на поперечинах у колес (повозок несколько).

Волы, тяжело шлепая по глубокой грязи, пошли по вдруг далеко осветившейся равнине. Изредка появляются избы. Провиант, на дорогу выданный, рассчитанный дня на три пути, затянувшегося почти на пять, давно съеден, остается в хлебных мешочках несколько пригоршней крошек, осыпавшихся с кругого сибирского хлеба. Едим, понемногу насыпая в ладонь. Как вкусны!.. Но пить хочется! Решаем остановиться у первой избы по дороге — просить воды.

— Всем идти не надо, — говорит старик, — я пойду и кто хочет из вас; двое останутся; мы принесем, давайте нам кружки!

Идти вызвалась я. Подошли к маленькой бедной избушке. Навстречу — женщина в черном платке, глаза заплаканные.

— Дала б молочка, кабы было... Нету! А киселем овсяным угощу — что твой хлеб! По сыночку моему сороковой день справляю. — И нам — глиняную миску застывшего, почти твердого серого киселя, кислого и прохладного. Упоителен — никогда ничего вкуснее! На ладони по куску треугольному (как, бывало, торт); содержимое миски крест-накрест, и жуем, и сосем, и пьем несравненное угощение и питание — в память умершего сына.

И снова шагают волы, и мы подрагиваем от ритма их шага, как та бочка с бензином, — она уже прошлое наше, жизнь шагает вперед медленно, как волы, но мы духом не падаем. Мы — живы, и все впереди!

Вечером мы соединились со своими во дворе большого рубленого дома (школы). За поздним часом никто не, поднял вопроса о еде — где взять ее сейчас? Только спать...

В просторных классах на соломе, сняв с себя полупросохшее, укутавшись кто чем мог, уснули сразу, как засыпают дети. Даже храп не мешал в ту ночь! Наутро — школьный двор, богатый высокими соснами. Зрелище невиданное: сосны, стоящие в воде. Местность болотистая? Ежегодно речка — приток Оби — под напором ее, разлившаяся, заливают весь городок. А мы в ботинках и туфлях. И те, чьи близкие могли помочь, послали просьбу о денежной или вещевой помощи. Без сапог тут — никак. Я послала три телеграммы: сыну, родственнице и Борису Пастернаку, прося денег на сапоги. Получила триста рублей от родственницы и пятьсот¹ (1 — дореформенных) от Бориса. Сына, как я позднее узнала, через несколько дней после моего отъезда перевели на Урал, на новое место, и я надолго лишилась его адреса.

В пути столкнулась с пожилой женщиной. Почти сдружилась — так бывает в трудные часы. Тема нашей беседы была — томление ее среди людей другого душевного толка (ее соседок). «У них нет, как говорят по-немецки, *Feintühlung*» (тонкости чувств!)» — сказала она мне. Потом мы встречались редко, занятые каждая своим.

Село Пихтовка (ставшее потом районным центром), окруженное кедром, пересекается узенькой речкой Широкие сибирские улицы меж домов зажиточного типа.

Женщина, помогавшая нам в пути, Антонина Константиновна Топорнина, в прошлом — заведующая большой библиотекой, имевшая под началом не один десяток служащих. Тоня, моя новая подруга.

Что удивило нас — на плетне ночуют новые сапоги; на кол, точно на гвоздь в избе,

вешают до утра ведро, алюминиевое. Как это так? Узнаем: глушь, некому снять. Замки? От кого? (Сказочный рай, что ли?)

— Скот загоняем в стайки только на зиму. От весны по позднюю осень скот у нас ходит на воле. Не было случая воровства. Сперва в колхозах работали, а потом домики себе наработали, новые улицы выстроились, все у каждого есть, чего воровать? Все друг друга знают, полжизни вместе прожили, чего это я пойду воровать? Чудно... — сказал нам один из тут живущих.

Мы с Тоней поселились в единственном нам предложенном жизнью — в спешке устройства приехавших — пятиметровом чуланчике в крестьянской избе. Ход из сеней. Печи не было.

— Печь? Да я вам такую сложу, кирпичную... — Веселый хозяин подмигнул нам, как сообщникам. — Сто рублей, по пятьдесят с души! Поселяйтесь!

Выбора не было. Поселились. Только позже поняли мы легкомыслие хозяина нашего: печь он сложил. Но — без поворотов... Тепло выдувало первым порывом ветра.

Обрадовались подполью, спустили туда купленные мешки картофеля. Увы, не знали мы ничего о завалинках. С первыми морозами застучали картошки наши — как камешки! Ели их, сладимые, скользкие, мягкие... мечтая о будущих участках, где разведем огород, — местное начальство предлагало по семьдесят пять рублей за двенадцать соток (семь пятьдесят). А пока не одни картошки, мы и сами начали замерзать — ночью, а днем — задыхались, толкая дверь нараспашку.

Вскоре Тоня нашла работу. На кирпичном заводе. Работу! То, без чего не могла она жить. И что сняло тревогу стать, хоть на время, нахлебником старшей сестры Капы, имевшей домик в Ташкенте. Не Капа будет слать помощь, а Тоня будет собирать ей посылочки! «Что?! Да хоть орехи кедровые!..»

Худенькое лицо бодро поднято. Синий огонь глаз. Тонкий, чуть длинный нос над улыбчивым умным ртом. Сколько отваги в ней, пожилой, и как скрывает она усталость лютую, приходя с далекой и трудной работы... Настоящая русская женщина!

Жизнь шла. Пока Тоня на работе, я топлю печь, варю еду, занимаюсь с хозяйским сыном Васей, школьником лет десяти. Добрый был мальчик! Очень любил животных. Но вот школу как-то не полюбил. Мать, худенькая, в работе не поклававшая рук, уже стареющая (кроме Васи вырастившая еще двух, взрослых уже, дочерей), качала головой, глядя на сына: и муж-то работник не ахти уж какой, и коль уж второй такой будет... За уроки Васе очень мне была благодарна, наливала мне молока.

Вася, глядя на меня бледноресничными, лукавыми, застенчивыми глазами, говорил просительно:

— Вы мне, бабушка, не объясняйте задачку, не надо! Вы говорите, что мне *писать* Вы ведь знаете, а я-то ведь не знаю... (последние слова говорил без лукавства, от чистого сердца).

Отца же его мы поняли только, когда, празднуя свадьбу старшей своей дочери, выходявшей за почтового работника, хворого, «но все-таки ведь мужика!» — плясал! Как плясал! Сколько плясал! А ведь лет-то много — за полсотни! Часами, без малейшей усталости!

Он плясал, как резиновый мяч! Переплясал всех, кто пытался соперничать! Что — соперник! Он дорвался до пляски! Он праздновал! «Дочь выдаю!» Едва пригубив стакан. Что вино! Он был *счастлив*! В доме наконец пляска!..

Мне работы не находилось: возраст и болезнь ни жары, ни наклона, ни тяжести. Слали помощь, как только узнали мой адрес, сын с невесткой. Купленные на 293 рубля сапоги оказались отличные, яловые, ходила с сухими ногами. Тонины, увы, протекали.

ГЛАВА 2. ЗИМА. ПЕС

Помню день.

Как вчера и завтра, на холме у стройки сую стружки в мешок. Когда попадаются щепки, обрубки — счастливый день. Нынче стружки занесло бураном, и откапывать их холодно так, что пальцы в перчатках, закованев, еле ворочаются. Уйти — жаль, куски коры меж сырых дров так помогают жить!

Хороводы стружек, слегка слипшихся от морозного снега, почти звенят, как металлические венки на могилах.

Вдруг, меня завидя, копающуюся в древесном мусоре, мимо бегущий пес, изменив курс, понурой замерзшей побужкой стал приближаться ко мне. Черный с желтым, большой, останавливается, замирает. Замираю и я. Боимся друг друга. Какой худой... Улыбаюсь, протягивая руку, зову. Не верит: исповедует превыше всего — осторожность. Какие там ласка и дружба, когда такой холод, такие ребра! Я отвожу глаза, стою. Он начинает красться к разрытому мной холмику стружек.

Почти рядом. Вижу шерсть в инее, впалые щеки, седые усы, нескончаемо несчастное выражение этих щек, обмерзшей морды, вздрагивающих бровей над глазами, почти человеческими от тоски. Хочется псу есть!

Поборов страх, роется в стружках, мне подражая: раз человек роется, значит, есть в чем рыться!

Нюхает еще и еще, огорчается на обманутые надежды, на тщетную трату сил.

Нечего псу дать! Хоть бы корку хлеба с собой захватила, дома же было немного хлеба...

И не взглянет! Уйдет от меня голодный, и навек потащу в памяти эту заиндедевшую горькую морду.

Но он поднял нос и черную с желтым лапу: лапа дрожала. И подслеповато, пристально, тупо посмотрел мне в глаза. Разве этот взгляд позабудешь?

«Что же ты роешься тут? Дразнишь? В холодном, мертвом, постылом... Эх, а еще — человек!»

И мне нечего тебе, пес, ответить. Донабрав мешок, взгрузив его на плечи, я как-нибудь его дотащу домой, у меня есть кусок хлеба, суп и картошка. Я растоплю стружками печь, и все мое оправдание — тебя помнить, которого не смогла туда привести, потому что ты никому не веришь и за мной не пойдешь.

Ухо пса дрогнуло, подслеповатые глаза отвернулись — и пошел назад, к тропинке, коей бежал, и прочь по тропинке, понурой промерзшей побужкой, продолжал прерванный путь.

Когда настала зима, то в мороз на мешке сена, лежавшем на полу между нашими топчанами, было до 5° мороза, а под потолком у печной трубы 25 и больше тепла, даже до 30. Живем в валенках. Дверь в ответ на вечерний стук Тонин я отбиваю, как молотком, поленом. В другие вечера, сырые, дверь разбухает — прикручиваю ее с трудом веревкой к крюку, а широкую щель, оставшуюся, напихиваю половыми тряпками, сеном.

Ели мороженую картошку, испускавшую противный сок. Как мечтали мы о своем огороде! О своей, вкусной и властью, картошке!

Но *решение* изменить жизнь пришло после того, когда в зимний буран хозяин распахнул к нам дверь. «Антонина! Анастасия! Придется вам куда-нито перебраться! Надумал я дом продавать!»

Столько торжества было в его заявлении, что не поднялись наши голоса спорить, негодовать. Он сиял! И что было бы дальше, если бы вдруг не спасла нас хозяйка: тихая, кроткая, она вдруг воспротивилась и не дала согласия на продажу! Что говорилось и творилось в их избе — не узнали мы. Но когда наутро зашел хозяин к нам в час замерзания, то с таким же рвением, как было собрался дом продавать, сказал:

— Ага, чую, холодно! И будет вам тепло, не обидитесь! Завалю я вас сеном снаружи! Ага! Стены вам из сена построю! Жердями привалю и свяжу! И будет вам, Антонине, Анастасии, жарко!

И — завалил, привалил, связал. Но с этого вечера началась моя мука — опасность пожара: Тоня, придя с работы, усталая, поев, ложилась и брала книгу: «Не могу без чтения!» Но тепло, после холода пешего пути — размаривало, и, почитав, она засыпала, не в силах потушить лампу. Я проснулась в критический миг: наклонившееся ламповое стекло по наклону чернело длинным треугольником сажи, огонь зловеще мигал. Рука Тони, спящей, роняющей книгу, застыла сонно в верхке от наклонившегося лампового стекла. Еще миг... Вскочив, потушив лампу, я отставляла ее, обжигаясь, — жестяную, горячую деревенскую лампочку. И, боюсь, разбудила, жестокая, бедную Тоню, стараясь ей, сонной, внушить страх пожара: «Вокруг нас — стог сена! Мы запылаем вмиг! Дом сгорит!» Она понимала, но на другой день, ложась, брала книгу, уверяла: «Я не засну». И иногда засыпала! И вскоре, поняв, что не читать она, после дня работы, не может, что книга для Тони — страсть, я смирилась, хоть и не смиренно. И выдумала себе — на опасные эти часы — дело: сторожа лампу, я не давала себе заснуть, устно переводя на русский и заучивая свою поэму, английскую, написанную двенадцать лет до этого на Дальнем Востоке, («Близнецы» — о Джозефе Конраде и Александре Грине). Переводила медленно и упорно, увлеклась, — обе части! Когда я ее кончила, настала весна и хозяин убрал сено, а у меня был готов перевод. Я повторяла его лучшие строфы. И как наш хозяин, на свадьбе пляша, переплясал всех, так, переведя свою английскую поэму на русский, я продолжила на русском — новое и теперь кончала переводить стихом новый конец с русского на английский.

ГЛАВА 3. СПУТНИКИ

...О жизни Тони — что я знала теперь? Их было четыре сестры в дружной, хорошей семье; все как сколок с одного образца красоты, синеглазые, с правильными чертами, друг к другу очень привязанные.

Когда Тоне было пять лет, семью постигло несчастье: в пожаре, охватившем волжский городок Сызрань, сгорел отец. Они жили близ женского монастыря. В панике, охватившей жителей, монашенки закрыли ворота, всегда открытые. Пламя уже, видимо, бушевало, когда, кто-то видел, отец попытался перелезть через них. Его узнали только по часам. Матери и старших дочерей не было дома. Тоню вывел из огня седенький старичок, свел ее за руку к Волге, поставил у моста и сказал ласково:

— Стой здесь, не уходи никуда. За тобой придет мама!

И как-то необъяснимо исчез. Мать пришла, увела дочку. Рассказ о седеньком старичке, сказочном, жил до сих пор в семье.

Старшая дочь была Капа. Вторая за нею, Павла, умерла взрослой внезапно, оставив маленького сына. Его воспитала Капа, бывшая замужем за композитором, детей не имевшая. Сестра Люда, очень больная, живет с семьей в Ташкенте.

О муже своем Тоня говорить не любила. Она много из-за него страдала, была горечь в ее молчании о нем.

Осенью труден был путь на кирпичный завод по болотистой местности. Тонино испытание теперь было легче: небо послало жаркое лето, грязь дорог высыхала. Тоня шла кедрачом, местами пополам с ельником, и, стихийно любя природу, радовалась.

И была еще радость — общение с людьми, неожиданные знакомства, от которых — взаимным сочувствием — согревалась душа.

С нами приехавший старик инженер Яков Иванович, бодрый и бравый, полный, высокий, с чем-то детским в доброжелательности к каждому, не очень-то разобравшись в дорожном спутнике, тоже инженере, купил с ним пополам большую, очень старую избу, вскоре потребовавшую ремонта. Денег не было. Начались споры. Прямой и в этой прямоте вспыльчивый, Яков Иванович не стерпел несправедливых упреков и недобросовестных материальных счетов, выразил это пайщику, произошла ссора, дом продали за гроши — и расстались. Вместо веселого приюта собственных стен, куда он даже пригласил нас с Тоней в гости, радостно угостил немислимым овощным ужином, он теперь жил на квартире и по-детски, обижаемый суровой сибирской хозяйкой, не дававшей старику ступить, жаловался нам на нее. Мы как могли утешали.

В сельской амбулатории устроилась лаборанткой милейшая, еще молодая, женщина, ленинградка, Дора Исааковна Тимофеева. Она никогда не рассказывала о себе, как делает большинство, но степень ее стремления помочь каждому была редкая. Всегда внимательная, в работе усердная, ровная в общении, она исполняла просьбы пациентов с такой с такой веселой добротой и терпением, точно дала себе слово: не обидеть, не отказать. Не поясняя затруднительности иных просьб, она находила возможность их исполнить с простотой грациозной, деловой и естественной. Знала ли она, что о ней говорят, что она во время ленинградском блокады (а кто говорил, на фронте) потеряла всю свою семью — детей и мужа? Был ли этот слух правдой?

Открытое большое лобовое лицо этой невысокой мужественной женщины как-то не позволяло вопроса. Отстранила ли бы она его, вскрыв незнакомую людям в ней гордость, или это была неспособность ее существа участвовать в бесплодной к ней жалости? Мне думается, этой ошибки не сделал никто.

Была среди нас пожилая полька, актриса, следы красоты которой еще пылали в тонкости очертаний лица, словно со старинного портрета сошедшего, в великолепных глазах свинцового цвета, с тяжелыми веками, был тонок очерк ноздрей, и был пушок над губой. Хотелось бы знать ее роли... Но тяжелые годы, переживаемые страной, как-то замыкали уста. О ролях ли было теперь ей, пожилой, с уже надорванным здоровьем, в глуши думать, когда дело шло о любой работе для пропитания? Мы молча улыбались друг другу.

Была в селе высокая, полная, некрасивая старуха, чем и как до того жившая, не ясно. В розовом ее лице, некоторой слащавости обращения и в охотном рассказывании об обеспеченных детстве и юности, в блистанье среди ее родичей громких имен было что-то не совсем достоверное, что заставляло задумываться. Однако двух девушек, из которых

одна была певицей, другая — студентка Светлана, болезненного вида, прозрачной и запоминающейся красоты, вышеописанная старуха (звали ее Таисия Еремеевна), взяв под свои материнские крылья, вместе с ними купила большую, обстоятельную избу, вела хозяйство, вкусно кормила своих названных работавших дочек. Певица устроилась в местном клубе, Светлана работала в артели, усердно и через силу — надо было где-то там, в огромном нашем Союзе, поддерживать мать, от нее событиями оторванную. Будто вчера — а прошло много больше четверти века — вижу худенькое остроносое личико, правильные черты, ясные, яркие голубые улыбку.

И было две очень пожилых сестры, по фамилии известного немецкого сказочника, уютные и жизнеспособные, деятельные с утра и до ночи, не доступные ни жалобам, ни мечтам, женщины-пчелы. Одолев покупку скромного домика, они уже возделали огород, превосходно, умело. Все навыки предков отражались в их дне. Не пропадали ни один час. Справляясь с трудом, получив сытость, они угощали зашедшего аккуратно и приветливо. Была вокруг них отменная чистота. Не в том году, а много позднее, когда жизнь где-то там наставала уже «приличная», получив в осенней посылке несколько апельсинов, сестры, поблагодарив щедрых племяншей, попросили их более не повторять этого; апельсины — съедать, а им слать апельсиновую кожуру: ее, высушив, истолкли в не без труда приобретенной ступке и понесли на рынок в бумажных пакетиках — для запаха сыпать в тесто. Люди, в годы войны нацело забывшие запахи теста, расхватывали волшебные пакетики, пахнувшие елкой и детством, а волшебные старушки вернулись домой с деньгами. О возможности продолжать такое они и просили родных.

...Неужели было время, когда в селе не было этих старушек-сестер? О, как же! Таких друг к другу заботливых, таких дружных — точно прочтенных в хрестоматии...

Сергей Тихонович Юров! Кто не знает его в селе. Пожилой актер. О чем бы ни говорил, он непременно вернется к театру, ибо любит его всем существом. Когда-то красивый, воспитанный, он подчеркнуто, убежденно настаивает на соблюдении этикета, он ему свойствен, как воздух — дыханию. Не найдя себе подходящего занятия в селе — люди его профессии уже заняли места в клубе, — он пошел работать возчиком. Трудно ли ему было привыкнуть к коню и телеге, к коню и саням — он о том не ведет речь. После работы он заходит в столовую, съедает то, что ему по средствам, и, переодевшись, идет в гости. Друзей у него — все! Чуть уже начал горбиться Юров, и волос редеет, но все так же оживлен он в беседе, так же изыскан в суждениях. И когда он входит, за ним — партер и кулисы, зрители, аплодисменты — и сибирская деревня тает как сон...

По рекомендации Якова Ивановича меня, как опытного преподавателя английского языка, начал брать уроки его сожитель. Уговорились о цене — пять рублей. Мне был малосимпатичен мой ученик — холеный самодовольный человек с седеющей раздвоенной бородкой, — но возможность заработать (на хлеб!) была радостна. Я ходила к нему (это было еще в пору сожительства его с Яковом Ивановичем), путь был недалек, урок приходилось вести не по верному методу, потому что ученик мой уже занимался ранее, в мою дисциплину приготовления уроков не включался, «рассуждал», спорил, заданий не выполнял. Вскоре я не застала его дома, затем он сказал мне, что ему некогда (не работая!), а долг свой (кажется, за всего три двухчасовых урока) обещал уплатить вскоре. Ученик-инженер не уплатил мне денег, хотя элегантно кланялся при встрече. Его теперь нет на свете, и я бы не писала об этом, не возмущись его поступком стыдивший его Яков Иванович — прямая, благородная душа. Произошла между ними ссора. Яков Иванович назвал поступок нечестным. Когда годы спустя стали из села разъезжаться, я встретила на

почте моего ученика. Он считал новенькие полученные им ассигнации, шелестя ими у меня на глазах (отдаст?). Он не отдал. Да простится ему этот долг...

ГЛАВА 4. БОБКА И БАРБОС

Наш Бобка — собственность хозяйского зятя — черный большой пес. Породистый, гладкошерстный. С хозяином своим ходит на уток — ученый. А веселится, точно щенок. Ценное качество!

Приходя к нам, превращая наш быт в праздник, врывается Бобка — всегда неожиданно, с таким запасом эфемерных нежностей, что вся грусть и усталость дня свивается в пылающее колечко, как кусок березовой коры, брошенной в печь. И окно нашего чулана становится окном замка, который звался Детство.

(С первых лет жизни Бобка, прыгнув в сердце, свил там себе гнездо — по гроб жизни.)

Послевоенные годы, разлуки.

Но стоит черному носу просунуться в щелку, ударить дверь, как радуюсь! И пес это знает! На мои ласки — даже свистит от нежности! Тонко... И вьется всем своим черным телом, и отворачивает в смущении глаза.

Вчера, не видя, я прищемила его морду хозяйской дверью. Он ужасно, по нечеловеческой искренности, взвыл, но, очутясь в моей охапке (испуганной и раскаянной), втащенный в нашу каморку, Бобка, все еще дрожа крупной дрожью от боли, уже облизывая меня, бегло, стыдливо, отрывисто, за силу моего не человеческого, собачьего же сочувствия, явно смирял вой (дрожь не мог!) и вежливо, душевно-грациозно (так бесконечно выше человеческой воспитанности) выражал полноту своего прощенья, радование моей виноватой, просящей о мире ласке, утешался всласть, мотал еще страдающей от ушиба мордой.

Боль проходила. Он уже и телом (не одной сердечной эмоцией) оживал: хлопал, точно мух ловил, разинутой пастью (алый язык изгибался, как острие пламени) и, как в детстве, у самого моего лица темнел ряд зубцов, так тогда меня занимавших, — собачьих десен, — и белки глаз, которые он, прыгая, закатывал (в игре, грызне, притворно сердитом рычанье, точно отдельно двигались от коричневой радужной оболочки), сверкали знакомым в детских играх с щенятами голубоватым уголком с коричневыми жилками. И вдруг в этом богатстве вспыхивал зелено-золотой блеск, на миг, фосфорящимся кружком, волчьим. А шерсть под моей рукой — это тоже так в детстве интересовало, прожило со мной и вот и к старости тут — ходила как отдельно надетая.

Ох, хорошо жить на свете!.. Чувство счастья. Нахождение у самых истоков всего! Каждый раз как вижу собак и кошек.

Но нынче Бобка почему-то не лаял у моей двери, давая знать, что пришел от хозяйского зятя (молодого почтового служащего, худого, умного, талантливое, ядовитого, подчас — горького пьяницы). Издали, по пути в снежно-сенную развалюху (уборную), вижу Бобку — сидит, привалясь к шалашу, горб к горбу — и не верю глазам: не трогается с места, когда я почти подошла: голова опущена (я — в очках, вижу ясно), глаза Бобки смотрят в сторону, на морде — глубочайшее уныние.

Побили? Прогнали? Классическая поза обитженности...

— Бобка! Бобинька! В чем дело?

Рушусь в снег, на колени, даром что ревматизм, обнимаю, треплю, шепчу, бужу к

жизни...

Мурчанье, скачок, взвизг — и пошел — лапами, головой разинутой в игре пастью! Какая краткость превращения! Какая искренность! Какая не человеческая благодарность!

Увлекаемая его прыжками и увлекая его, с разбегу, как полвека назад, вместе в копну сена, в морозный благоухающий хруст.

— Лапу, Бобка! Как думаешь, еще поживем на свете?

А через несколько домов от нас у чинных бездетных хозяев жил тоже чинный, огромный, черный кудряво-лохматый Барбос. Нашей первой встречи не помню, но со второй он стал аккуратно каждый раз выходить на дорогу, как только я показывалась на улице, спокойно тереться о меня кудлатой головой, великолепной, и пускался в путь, точно это был его долг — провожать меня до села.

Мы шли и говорили друг другу ласковые слова и урчания, и было нам тепло и благодарно вдвоем. Он встречал меня на каждом моем обратном пути, и шли назад — до какого-то, ему понятного, места, где он останавливался, с минуту стоял, глядя мне вслед, добро маша хвостом, затем шел в свой дом. Но однажды навстречу мне из наших ворот прыжками помчался Бобка, еще издали зарычал в сторону Барбоса и, подлетев к самому моему лицу, повернув, побежал назад со мной, как со своей собственностью. Я оглянулась на Барбоса — он стоял на дороге, грустно смотрел вслед. Увидев, что гляжу, он махнул хвостом — покорно признав право Бобки считать меня своей.

С того дня он стал покидать меня раньше — останавливался, глядел в сторону моего и Бобкиного жилья, лизал мне, прощаясь, руки и шел назад.

Помню еще раз, как я вышла из дому идти в село, а Бобка бросился ко мне — бурно здороваться; отмахиваясь от него и шутя с ним, я шла к воротам. Кинув взгляд на дорогу, я увидела Барбоса. Он не заметил Бобки (тот отбежал в игре) и степенно и радостно пошел ко мне навстречу. В этот миг Бобка подскочил ко мне в своем яром танце. Барбос стал посреди улицы и смотрел на Бобку. Затем повернулся и пошел прочь.

Так мы жили, пока не пришел конец.

Он пришел почти одновременно Барбосу и Бобке, и по той же самой горькой причине: парнишки убили того и другого. Бобку — за черный блеск его густой шерсти. Барбоса — за кудрявый, черней черного его мех. За красу, ими не знаемую, у них отняли их верное и веселое собачье сердце, которым они хотели служить (и радовать его) человеку.

ГЛАВА 5. ВЕСНА. ТЕГА

После тяжелых буранов, заносов, лютых морозных ночей (зима сибирская кажется непомерно долга жившему лишь в Средней России) весна наступила столь же невинно и всепокоряюще, как в первый раз на земле! Ручьи вдоль домов текли точно так же, ломая ледок ночных речек, как в Трехпрудном, в Москве, когда мы выбегали во двор, где таял каток, и, обегая мостки, топтали льдинки; в прошлогодних калошах после ботишков, валенок, медвежести зимних прогулок! По предсказаниям сибиряков, наводнения не будет или совсем маленькое, не увидим села, залитого поднявшейся речкой, несущей кусты и обломки, не вспомним страшных с детства картин «Медного всадника!» С тем большим жаром я принялась за приготовления к огороду: запись на участок, раздобыванье тяпки, лопаты — бедненького скарба новичка, впервые берущегося за землю.

Говорили: предложат участки на выселках, по 12 соток — жить огородом. С тем условием, чтобы мы строили свою улицу. Земельный техник отмерит нам землю на возвышенном месте, сюда вода не дойдет, во всяком случае (избы села в наводнение — под водой).

Тоня решила строить: она уплатила 76 рублей за лес, торговалась с запрашивающими дорого за вывозку его с далеких делянок (по густой и мокрой тайге). Я на стройку не решалась. С помощью дорожного спутника плотника я нашла конюшенку с узким окошком и негодной дверью, поверила расчету и обещаниям будущего соседа, плотника, мне разобранную конюшенку поставить и достроить на новом участке и дешево — и купила ее, не решаясь тысячу — теперешних сто — рублей смеялись — более пятисот — семисот дал. Деньги были скоплены из денежных присылок сына и Бориса Пастернака. Платила по частям, урезав себя во всем — хлебе и молоке: хлеба затем не ела девять месяцев, молока не видела полтора года. Предстояла закупка оконных переплетов и стекол, дверной коробки и двери, плах на пол, — каждая присылка денег из дому, вместо еды, будет кормить меня всем деревянным, зато росла непомерная радость одолеть свой уголок, за который не надо платить месяц за месяцем... Почем знать, сколько тут проживешь, самое выгодное и разумное огород со своим жильем.

Страх когда-нибудь не получить денег из дому и не иметь, чем уплатить хозяину за угол, делал все лишения в еде легко приемлемыми. Сжать себя во всем (лишь был бы кипяток и картошка) — не вопрос. Но вопрос безответный — что делать, если хозяин откажет: выбираться. Куда? Свой угол стал всем нам — неизбежным.

Маленький, разительно меньше братьев гусей с ними не пасется, живет во дворе, в сених. Конец лета. Он так свыкся с людьми, что ходит за ними, как пес. Он стоит, поджав ногу (болит?), и умным, ласковым, голубым глазком смотрит, как бабушка у крыльца, на ходу у всех, никого — от старости — не замечая, чистит тупым ножом картошку в большой, весь в саже, котел. Трудно чистить тупым ножом, и Тега сочувствует. Так внимательно и настойчиво приглядываясь и прижимаясь к людской жизни, нельзя не понять ее наконец. И он что-то говорит, всегда разное, хоть и сходное на человеческий взгляд, потому что гусиное. Но ведь и люди тоже говорят разное, а монотонное — на слух гуся. И бабка, похожая на корешок женьшеня, тоже сочувствуя и понимая, по-своему, по-старухиному, ласкает его: «тига-тига» — и угощает горохом, сладок нынче горох, лето-то благодатное... И гусь вежливо ест угощение. Так всегда все, что ему дают, Тега аккуратно и благодарно съедает и аккуратно раскладывает по сенцам, ступенькам крыльца и тропинке маленькие жидкие лужи. Эти лужицы так же мало похожи на гусиный помет как Тега на своих братьев-красавцев. И все-таки Тега растет, хоть и болеет, и хозяйка (дочь бабки, мать Васи) кормит его, надеясь подкрепить, но замечать ей его некогда в суете хозяйства, и друзей у него в шумном доме двое: бабушка да я.

Правда, что его, как и всех животных, жалеет так же, как я, еще Тоня, но она весь день на кирпичном заводе, приходит, когда гусь спит; она топит печь, ест и полночи читает. Лишь в выходной она общается с Тегой. И всю неделю мы с Тегой скучаем по ней.

— Когда же придет наша Тоня? — говорю я ему, присев, усталая, на пороге, и гусь смотрит мне в глаза немигающим умным глазком — понимает.

Тега ходит ко мне в гости. Я открываю дверь в сени, и он неуклюже, боком, преодолевая испуг перед высоким порогом, прыгает тогда, жалко взмахнув крыльями, и оттуда, вновь преодолев страх, храбро сваливается в глубину каморки.

Я сыплю ему крошек и корочек, он ест жадно и очень быстро и явно просит еще. Но убирать за ним в моей тесноте маленьким веником мне трудно. В сенях я часто мету за ним длинной хозяйской метлой, чтоб не раздражался хозяин, все грозящий, что прирежет его: толстеть не толстеет, а пакостит на самой дороге. Но хозяйка хочет добиться толку — отстаивает. А я малодушно стараюсь не быть уж очень гостеприимной, чтоб поменьше убирать у себя луж.

Однажды, спеша, в пылу дня, когда не по пути мне было с ним, с его гусиной приветливостью, я даже бесцеремонно перевалила его назад через порог — воспользовалась своей привилегией человека над птицей. Тега так испугался — нежданности, что перекувырнулся, и когда я его, стыдясь и жалея, взяла на руки, он весь дрожал и отчаянно рвался прочь...

Дни шли. Я так свыклась с близостью Теги, что почти скучала, когда его долго не видела. Равнодушно глядя на больших шумных ширококрылых гусей — ими полно все село, я беседовала с Тегиним голубым глазком (Тега как-то всегда был в профиль). В его робкой инвалидности жило родное. И было еще в нем что-то от собаки (от кота?) — он так лип к людям, маленький, «почти человек», он все делал попытки войти в избу, домой (у меня он был только в гостях), он стремился за бабушкой, но бабушка сама жила как бы в гостях у зятя, как и Тега, стыдясь своей слишком малой полезности; в избе она была немногим более дома, чем Тега, и не решалась его впускать.

И была в Теге — тлела? — застенчивость, что он не такой, как надо, что все гонят его; мне кажется, он понимал и про лужи; он так стыдливо отходил от них в сторону, точно извинялся, что еще одну сделал. Смоги он — он бы их подтирал, выметал, мне кажется.

И все-таки во всем его поведении возле людей, настойчиво-ласковом, но не назойливом, он хранил свое маленькое гусиное достоинство. И порой — но это уж явно мерещилось, — порой мне казалось, что в этом синем глазочке живет что-то большее: тихое чувство юмора над своей (андерсеновской ли?) судьбой. Он так терпеливо переступал с одной, слабой должно быть, ноги на другую, стоя возле бабушки на крыльце, и так услужливо, спешно уступал дорогу хозяйке, ее мужу Васе (впрочем, никогда Тегу не гнавшему), удаляясь тотчас же (как нелюбимый ребенок) в бороздку меж унавоженных высоких гряд огурцов, почти скрывавших его.

Тега стоял и смотрел в мою комнату, голову набок, ждал своих крошек. Он, наверное, был благодарен мне, что убеждаю бабушку не кормить его, больного, горохом (который он из благодарности безропотно ел). У меня для него была отложена корочка, но на сковородке подгорала картошка, было некогда корку ему крошить.

У Теги же было время. И Тега ждал вежливо.

— У-у, гадина! — крикнул привычно хозяин, круглолицый, синеглазый (так бесподобно плясавший!), идя с топором и пилой чинить на реке мост. — Опять нагадил! Отрублю ему завтра голову!

— Голову! Теге! Такую чудную голову! — пошутила я мирно на его словесный воинственный пыл и «хозяйственно»-примирительно: — Да он осенью тех перегонит!..

Тега исчез; смотрел ли он на бабушкины корешки-руки, полющие за домом ее вековую картошку, слушая ее «тига-тига», или скрылся под лопухи, я не видела: я стояла у плиты, мешая картошку.

— Вот, — сказал голос хозяйки. Она смеялась и совала мне через порог корзину.

— Это что? — удивилась я.

— Да гусь! Не признали? Тегу-то вашего! Хозяин его порешил!

— Что-о?? Да не может быть!.. Тега? Только что тут стоял...

Чем-то смущенная женщина наклонила корзинку: грязно-белое, безголовое, маленькое, на подогнутом крыле.

Без крика! Молча глотнул так неожиданно предельную обесчещенность. Совершенно недвижно, точно уже сто лет так лежит... Сбоку, как ненужная мелочь, у хвоста, валялась длинная белая трубка с кровавым пучком перышек, и из него, страшная своей выдернутостью, — вялая длинная жила. Горько сомкнут был не поверивший — быть может, и в тот миг — гусиный младенческий профиль. Закрыт и кругом красен был голубой глаз.

Зрелище длилось мгновение и, исчезнув — корзину уже уносили, переселилось навеки в меня.

— К обеду изжарим! — точно опомнясь, крикнула хозяйка, уходя с добычей в избу.

Я стояла, смиряя дрожь. Какая-то моя жила билась во мне: что я сделала? Пошутила в ответ на угрозу поднятого над шеей топора! Не поверила! Не побеспокоилась даже сказать: «Я вам заплачу за него. Продайте! Он же маленький, недорогой... Пусть считается — мой, может, ему судьба — выжить...» Ведь *могла* так сказать! Не пришло в голову! (Теперь — пришло!) Спрекраснодушничала! Много, мол, раз говорил так... Точно это «много раз» страховало от того одного раза, который мог только раз быть...

Нет Теги! Повела глазами по комнате. Лежит корочка, как лежала пять минут тому назад, когда ее ждал Тега. *Некогда* было скормить!.. Когда же, когда же придет Тоня?

За дверью, все еще раскрытой, как при Теге, мелькнула бабушка. Я было кинулась навстречу, но за ней шла дочь — хозяйка, и я увидела, что у бабушки дрожит подбородок. Проходя, хозяйка сказала мне спешно, как все, что делала: «Не хочет хозяин держать бабушку, пожила у дочери, говорит, — будет! К сыну ее отправлять налаживает... А там сноха — у-у...»

Темной рукой застится от солнца хозяйка; светлые огорченные глаза из-под щитка руки смотрят вдаль.

В обед пришли гуси, наполнив гоготом двор. Мычит коровья морда — черная с белым Розка просит поила. Нет Теги...

Когда же Тоня придет? В тот миг, когда завиджу ее, я смогу немного вздохнуть. В ее усталых, добрых, синих глазах, в начинающих сесть волосах мне сейчас роздых от горя!

Эту главу написав, я послала Борису (Б. Л. Пастернаку). Жаль, не сохранилось его письмо о Теге. О том, как он принял его. И как удивился и огорчился, что я не откупила его, *убитого*, у хозяев и не похоронила, а позволила съесть. Он был уверен, что вот сейчас (конец главы) я это сделаю... Я читала и огорчалась тоже. Я старалась понять, почему я этого не... Вспоминала: я была сама как-то полуубита смертью Теги. Зарюют его или съедят — мне как-то было все равно, должно быть, в тот час... Я *жизни* хотела его! Должно быть, для замысла Бориса надо было больше, чем у меня было, энергии, которая была у Бориса и которой у меня не было... Я понимала только одно: нет Теги!

ГЛАВА 6. РОЖДЕНИЕ ОЧАГА

С первыми весенними днями начались хлопоты о перевозке моего будущего жилища и переговоры с соседом. Первое с трудом удалось: разобранный по бревнышку

конюшню удалось возами перевезти на мой полуболотный пустырь. Ноги в сапогах почти по колено порой шли в воде, возчик бранился, я ежилась и молчала, моля судьбу о благополучном завершении переезда. Что разворуют бревна и плохонький тес, я не боялась — в отдаленном сибирском селе никто ничего не крад, как мы уже знали. Но меня ждал удар: занятый своей стройкой сосед, обещавший построить, отказался ставить избу: «Некогда мне, мало ли что обещал! Я не один плотник!» Помня его ласковые обещания, я растерялась. Как же так? Это был край отчаяния.

Бедняга Тоня в это время мучилась с неудающейся вывозкой леса по колдобинам и размытому пути, взявшиеся отказались, никто не брался, на руках был один лист об оплаченном лесе, и когда ее героическая энергия все же отыскала в селе молодцов, решившихся, то цена была непомерна, и Тоня села надолго без хлеба.

Но она надеялась найти себе маленькую готовую избушку, достроить и перестроить ее, напилев теса.

Все свободные часы ее весны прошли в поисках. И однажды она вошла вне себя. Синева ее глаз горела как в юности. Голос сиял:

— Нашла! Банька! Низенькая! Ничего! Над самой речкой! «Вилла на Рейне»! Огород, ягодник... Тысяча семьсот! В рассрочку!..

Шел десятый месяц в Сибири, пятьсот рублей ее денег — в трубу...

Почти год в ужасающей тесноте с разницей бытовых интересов. Тоня, замерзнув в пути, входила со страстью согреться — в часы, когда я, отстрадав от жары (неизбежной, чтобы на печурке сварить еду, подсушить дрова), жаждала от этой жары избавиться. И когда Тоня подбрасывала дров в печь — я страдала. Страх пожара из-за ночных чтений взял много сил. В подсчете — мы за зиму друг от друга устали. Но когда пришел час расставаться, когда Тоня, уложив немудрящий багаж свой, подошла проститься, когда этот взгляд ее, согретый меня с первого дня встречи, подаривший мне теплоту очага, обратился ко мне с шутливым — чтоб не заплакать — прощаньем, сердце сжалось по-настоящему: страданье от вечерней жары, страх пожара — все отступило! Нет Тони...

Я затосковала всю... Как пусто без Тони... Просторно, ненужно просторно, все из рук валится... В лютой печали я уснула в ту ночь.

А наутро стою во дворе, чужом, — том, где покупаю конюшенку, собираю трухлявые куски нижних негодных венцов. В который раз уж несу их, полной корзиной, на свой участок — пока у соседа их буду хранить, мое будущее отопление, — бережно подбираю кусочки... Старухи хозяйки нет, куда-то ушла, позволив мне пользоваться корзиной.

На крыльце стоит ее внучка Галя, ей два с половиной года. Крепкая, ясноглазая, низколобая, но лоб — волевой. Волосики над ним густой щетинкой. Рот поджат. Смотрит на то, что я делаю, долго, внимательно. Затем молчание ее прерывается легким сопеньем. Оно становится гуще, и вдруг рождает слово.

— А ведь колзинка-то наса! — говорит она в минуту, когда я, поняв, надеваю на руку ручку корзинки, чуть сгибаясь под тяжестью.

— Да, деточка, ваша... я скоро ее принесу, — отвечаю я совсем не тем тоном, каким говорят с детьми.

Я тотчас отмечаю это и аналитически говорю себе: «Ты это сказала — подчиненно. Почти униженно!» Но сибирское дитя не дает мне времени размышлять.

— В када плинесесь? — изрекает оно.

Неумолимая повелительность звучит в тоне; ему сопутствует зоркий взгляд. И

быстрее, чем я бы успела обдумать, я отвечаю:

— Я — очень скоро...

Я иду, подгоняемая тяжестью корзины — столь же, сколь чем-то нестерпимым, что кроется в нашей беседе. Это дитя взяло меня в плен. Это было ужасное дитя — настолько взрослее меня, что я не могла не послушаться. Она дала мне унести корзину, и я должна оплатить доверие — быстротой выполнения обещанного. И долго я, годы потом, это дитя вспоминала. И еще я вспоминала Лысенко, отвергавшего — гены! Нет, не за какие-нибудь полгода-год полусознательной жизни в данной среде эта девочка поняла, как жить, она усвоила это с первым глотком материнского молока, а вернее, еще и в утробе. И довольно страшный ребенок родился в мир.

А на другой день сосед окончательно отказался строить мою избушку! Тот, что нашел ее для меня, уговорил купить и строиться!.. С горечью вспоминала я слова его: «Перевозите избу разобранную на участок, и я вам ее поставлю. Завтра скажу, сколько вам все станет, смету соображу!» И наутро назвал сумму, не испугавшую (и ведь не сразу платить!). И вдруг — отказ, когда конюшенка куплена, разобрана, перевязана... «Некогда мне!» Что делать? Где искать плотников? Сколько возьмут? Я бросилась к Тоне. Она возмутилась, сочувствовала, утешала: «Найдем, поищем, построим!»

И когда я, после слез и мытарств, нашла плотников, они запросили втрое-вчетверо против маниловщины сметы соседа, и я села надолго на полуголодный рацион.

...А Тоня была счастлива, и я радовалась за нее. У нее свой угол над речкой! И колодца не надо! Чудный рельеф берега, спускающегося к воде... И уже чащина кустов ягодных вокруг домика, уют налаженный огородной и ягодной жизни... Сестра Капа тут будет царствовать, когда, подняв домкратом, подрубят дом! И не так уж долго ходить Тоне нагнувшись в баньке — зима пройдет, заработает на бревна, и домкратом подымут ей домик и подрубят низ...

Теперь мечтой ее жизни был приезд Капы. Она готовилась к нему, как к празднику.

— Маленькая моя, старенькая!.. — Она пошла бы за ней на край света...

Шло лето, полное тревог. Я добывала лес — надо было достать восемь бревен, чтобы подрубить мою конюшенку, добро — стариком хозяином отпущенную мне почти в долг. Восемь бревен подрубить и не менее восьми — надрубить будущую избушку. Тоня ходит в своей баньке нагнувшись, улыбается, говорит: «Ничего, привыкну!» — и глаза ее налиты юмором. Но меня такое — пугает. По рассеянности то и дело бить лоб об дверку, макушку о потолок? Как-то уж даже страшно... Но Тоня счастлива — у нее свой дом над речкой! Сестра Капа тут будет радоваться! Так любит природу!

Ежедневно я ходила далеко на мой огород, где уже, после многих дней обещаний, все-таки вспахали трактором мою целину под картошку. Для трех соток огорода под овощи девушка согласилась лопатой копать по пятнадцать рублей сотку, но, устав, отказалась. Я бегала в отчаянии, ища ей замену по селу, — было пора сажать... Нашла другую за двадцать рублей сотку и с ней вместе, дрожа за глаза (запрещен наклон), два дня тяпала тяпкой, наклонясь, преодолев страх за зрение и боль в спине. Тогда встал вопрос о посадке семян. В первый раз в 55 лет! Кто научит? Судьба сжалилась. Пожилая, добрая, бодрая еще женщина, жившая с дочерью и 106-летней матерью, узнав мою беду, пришла и, не взяв денег, показала мне, как что посеять, как посадить овощной огород: сперва помогла сделать грядки.

Именно в эти дни, должно быть, и родилась моя страсть к сажанью и возвращению, скрасившая мои сибирские годы.

Месяц за месяцем с пчелиным, муравьиным терпением, с увлечением я ухаживаю за огородом, наслаждаясь видом всходящих — как разнообразны! как хороши! — первых посевов и посадок. Иногда я почти не сплю — заря с зарей сходятся: иду с участка домой, когда уже звезды тонут в рассвете. Грабли, тяпка за плечом — как доспех. Девиз моей новой жизни!

Избы спят. Тишина. Только далеко где-то, валдайским бубенцом, лай...

(1 В 106 лет она с интересом слушала радио, хоть и была немного туга на ухо, одна ездила в далекий путь в гости дочери, на Урал, и одна вернулась назад. Вот какие сибирячки!)

ГЛАВА 7. «КОШКИНА МАМА»

Не сразу мы про нее услышали. Но в селе знали «кошкину маму» — и как было ее не знать? Жила она в самой маленькой избе, какую можно вообразить: моя (будет три на три) была рядом с ее избушкой воплощением простора: ее была два на два! И стояла она на таком отшибе от всех, что ни одного дома с ней не было рядом: в одну сторону — лес, в другую — поляна лесная, в третью — тоже лесная поляна, в четвертую — лес. Кто построил бескрышную ее? Для чего? Кто там жил до нее, до «кошкиной мамы»? Из нас, вместе приехавших, этого никто не знал. Была избушка рубленая из леса еще более тонкого, чем моя экс-конюшенка, никакой глиной не мазана — венцы да мох; сеней — никаких. Дверца углая — прямо на поляну лесную, в солнце и облака, в ветки, ветер, в серп месяца, в луну, рыжую, оловянную, в черную сибирскую звездную ночь.

Как могла она там одна жить? Не боялась ни человека, ни зверя, ни одиночества? Кто же она была? И какая? Сильная и большая? Ростом — маленькая, по избе. Бойчей же ее — трудно представить. И была она по призванию писательницей, сам Максим Горький знал и хвалил ее. Звали ее Ольга Захаровна, по фамилии — Разовская; а кошек у ней было пять, и они размножились. Кошки жили хозяйками дома. Когда я, увидав, что две из них едят с тарелки на столе, окликнула Ольгу Захаровну, сообщая об этом, она ответила мне голосом (кошачьего!) достоинства: «Это их право. **Мои** кошки — чистые!» В этом утверждении кошкам передавалось ее достоинство — в слове «мои». Жизнь ее с кошками была общая. С виду все они — была ли это порода такая или ее за ними уход — крупнее обычного кошачьего размера. Имена же у них были самые удивительные; увы, я их позабыла. Помню смутно одно лишь, напоминавшее бытовые немецкие сказки Штрудель (или Штруцель?). Остальные имена были вполне разностильны, индивидуальны — так сказать, биографичны; но ни одно не было обычным кошачьим названием. Разговаривала «кошкина мать» с ними, как с детьми, привычно их окликая и наводя порядок, и они откликались и реагировали лучше, чем дети; они слушались. Когда же в стычках с домами далеких соседей коты попадали в беду и терпели урон, «кошкина мама» шла на прием к начальству (чаще всего — к симпатичнейшему комсомольцу Т-ну) и требовала защиты и разбирательства. И настолько красноречив и убежден в своей правоте был истец, что Т-н шел с нею на место происшествия и старался внести в дело ясность и восстановить порядок. Потому крупных бесчинств над Штруделем и его сожителями не происходило, и кошкам удавалось большее благополучие, чем их «маме».

Ели они, конечно, лучшее из того, что могла себе позволить их хозяйка, не в силах работать так, как работали, например, пожилая Тоня или молодая, но болезненная Светлана, — старая Ольга Захаровна нуждалась. Где-то там была у нее сестра, хорошо в жизни устроенная, и говорили, что наша бедняга будто бы ждет ее помощи, сообщив ей о

своем трудном житье, и, видимо, под эти будущие деньги, в которые верила, и брала она, где могла, в долг на свою более чем скромную жизнь. Но отзывалась ли сестра в это трудное для всех время — никто не знал. Как-то, помнится, и мне пришлось что-то дать «кошкиной маме», и она мне вернула. Но мне сказали, что она так и будет просить и может и не отдать, и мне стыдно сказать, что однажды я ей, в деньгах стесненная, отказала. А «кошкина мама» — работала. В своей крохе избушке с потолком из досок, жердей и больших кусков березовой коры она печатала на машинке свой новый роман о средневековье, умный и талантливый труд, — главы из него мне читала, и который она давала читать Т-ну. Она надеялась в будущем роман увидеть в печати. Как забыть эти четыре метра ее жилья — с парижскими эстампами, с открытками, изображающими нотр-дамских химер, музейные сокровища, с машинкой — среди жалкого инвентаря случайного ее лесного жилища? Под мурлыканье и дремучий блеск глаз, кошачьих, сказочных, как все вокруг нее...

ГЛАВА 8. ПОЯВЛЕНИЕ ДОМКИ. РУСЛАН И ЕГО ХОЗЯЕВА

Утро. На моем пороге маленькое черное пушистое существо, похожее на сеттеренка-гордона: желтое — у бровей и у лап. Тявкает.

Умильно свесив набок длинное кудрявое ухо, щенок смотрит на меня.

— Возьмите щенка, бабушка! — говорил Вася. — У нас кошка... нельзя! Тятя не хочет. Гони, говорит... Жалко!

— А чем я его буду кормить, Вася?

— Супом... и хлеб есть, — тише, неуверенней, зная, что у прежних хлеб не так жирно водится, как у давно тут живущих. — Я ему молочка налил, — шепотом. — Он есть не хочет!

Щенок ждал решения судьбы.

Я взяла его на руки. Он был вершков семи, пушистый; он купался в моих руках, свешиваясь медвежьим телом, младенческим; подымал мордочку, чтоб лизнуть меня розовым язычком, взвизгивал, плавал в воздухе лапами, помогал хвостом, закатывал карие оченки под лоб, сверкая синевой белков; захлебывался щенячьим счастьем. И я оживала вместе с ним.

Я взяла щенка. Он быстро усвоил значение ящика с землей, провинился лишь раз, и мне стыдно помнить, как я сильно его отшлепала, как он метнулся к двери, крича тонким — детским — криком в испуге: в боли он был малодушен. Я назвала его Домка (в память моего котика Домки, с которым жизнь меня разлучила, когда мне пришлось уехать внезапно от сына). Новый Домка спал в ящике под столом, в посылочном, полученном из дому. Ходил со мной всюду, рано отважась провожать меня в далекий центр села. У магазина, у почты, у аптеки он ждал меня, но я тревожилась за него, боялась собак, мальчишек. Однажды он пропал (я долго писала на почте открытки).

Как померк день! Я бродила в тоске, заглядывая во дворы и улицы, возвращалась, звала, упрекала себя. Потерять такое сокровище, любящее! Снова жить одной? Не оценила счастья! Не уберегла... И — помнить его, нашу жаркую, веселую жизнь...

Но, подходя к дому, я замерла от радости: мне навстречу — почуял! — летел Домка, малыш умный — нашел дом! Ждал! Несся приветный визг. Как обнимались! Вмиг он облизал мне лицо, руки, шею. Прыгал! Прядал от земли! Кричал! Смеялся во всю пасть щенячью! Катался по земле, взлетал на меня, как на мать!

Но хамская способность привыкать к счастью снова позволила мне ударить моего дружка — за то, что вскакивал на мой топчан. Он кричал младенческим голоском обиды, не понимая, за что. Не понимал, потому что тут же вскакивал вновь! И судьба меня наказала — и он снова пропал.

Я одичала в тоске. Все ушло из рук: работа по огороду, по дому. Я остервенело и мрачно искала его всюду. Пала духом. Уныло метнулась назад, бросив все дела, к дому хозяев. Конечно, не придет! Прошло! Это был сон о радости, а я приняла его как будто должное, смешала с бытом, как это делали соседи, для которых пес был сторож, и только, за что и кормили, как кошек — за мышей.

Упустила друга! И теперь — одиночество! Уже полдня прошло. Без-на-деж-но! Нашел прежнего хозяина, у которого родился? Попал с разбега веселья под телегу? *Где он?..*

Еда не сварена, каморка не убрана, ничего в огороде не сделано. Я шла, еле двигая ноги, загибая за угол к дому — который раз. Меня ошпарило счастьем: он меня ждал у далеких еще дверей и кинулся ко мне каким-то винтом, вверх, и таким же винтом взлетел всплеск ненасытного голосового ликованья. (Он, быть может, так же, как я, думал, что кончено, что меня уж для него нет!) Мы обнимали друг друга перед воротами дома, забыв людей, окна их и их души, черствые в труде и отрыве от близких. Мы праздновали конец тоски!

По широкой улице сибирского села идет домой стадо — дородным шагом рогатого скота и игрушечными ножками овец. Легкое облако пыли, пронзенное закатным огнем, уводит память к картинам — французских? и мною-то позабытых художников. Мычанье, бляенье — сельский оркестр вечерами... Сейчас коров подоят (в Сибири не доят овец, только стригут), и все это ляжет на ночной покой — тут же, на улице, — скот не запирают, как в России. Солнце садится, алость заката смешивается со светлой зеленью...

Только на Дальнем Востоке видела я такой цвет неба закатного, у нас его нет.

У наших соседей была большая цепная собака. Черны как сажа были Бобка и Барбос, Руслан был бел как сахар. Большой, длинношерстный, шерсть не была блестящая, как Бобкина, и не курчавилась, как у Барбоса, — она стояла ворохами снежных стрел, точно он весь был из инея. Он был дворовый, но походил на шпица, которого увеличили в лупу. Он лаял густым преданным лаем, добрый служака, многолетний сторож, желтоглазый, улыбающийся, — он прыгал на цепи со всей страстью встречанья навстречу идущему.

Хозяйка хорошо кормит Руслана, как и всю скотину двора. Когда она наливает ему в миску супу и кидает туда хлеб, он так искусно танцует вокруг, словно учился в балете: не заденет, не прольет, как ни заигрывает с Евгенией Петровной, как-то сразу со всех сторон обнимая ее белоснежными лапами. Есть ли на свете существа благодарнее и благороднее собак?

Мне Руслан радуется как празднику — умиленным словам, ласкам, безнаказанности игр. Хозяйку он чтит и побаивается. Меня — нет. Со мной он просто счастлив, как с товарищем-псом. Я не кричу на него, ничем не напоминаю, что — человек. Когда я уйду, он прощается, кладет мне лапы на плечи, старается лизнуть в нос, машет опухавшим хвостом, поднимает и опускает шелковые уши — на солнце они как раз того цвета, который посередине меж золота и серебра.

Хозяин Руслана — плотник Парфен Никитич, низкорослый, плечистый, бородатый,

с маленькими медвежьими глазами, в 70 лет вырывший без труда колодец, — сидит на крыльце после ужина, беседуя с пастухом, и перекивается по хозяйству с женою.

Так они живут двое, овцы, да пес, да кот, да куры, неплохо бы и уток завести — пара гусей уже есть, да вот речка далеконожка и луж мало, лета стоят жаркие. Так они жили десятки лет до меня и при мне — год, я стою на квартире у их соседей, огороды разделены жердями.

Кот у Евгении Петровны пестрый, большой, деловой и неласковый, больше по мышинной части, службист: изба да кладовка, да сеновал — свое котовое хозяйство, и я его мало вижу. Но Руслан, особенно после Бобки и до Домки, скрашивал мою печальную жизнь. Жаркое собачье сердце в добром мохнатом теле, непритворная радость гостю, приветствие цепным грохотом, белые лапы в длинной шерсти у меня на плечах.

Наши друзья! Уже есть кошка Тони — Жанна. Тигровая. Ласковая... И у Тони ведь — дом! А у меня ничего нет: одно вспаханное — десять соток — поле, ни плетня, ни — да, уж именно ни кола ни двора на двух сотках, как тут говорят, «под усадьбу». И медленно — недели идут, превращаются в месяцы — появляются по два, по одному бревна.

Жизнь шла. Я кормила Домку скромно, еще скромней, чем ела сама, а он — хотел равенства... Какая же пошлость была в роли хозяина, человека над псом, отказать ему, хоть и в почти голодном дне, в равенстве пищи! Правда, он ел много, но неужели бы судьба не помогла мне, если б я наливала ему густой суп, давала бы очищенную вареную картошку! Уставая по огороду — участок был далеко — и от малого сна, истощенная, я подло потворствовала своей жадности («праву») погуще, пожирнее, с приправой растительного масла, овощей в супе (ведь мало их, последние до урожая) — и ленилась, позорно, очистить ему, как себе, картошку: старую, сморщенную, доживавшую последние деньки до новой, почти безвкусную, горьковатую; давала ему ее, оставляя на ней шелуху, темную, точно он мог ее очистить сам! На! И ком летел ему наземь. И когда он, понюхав, жалобно подняв бровь, скулил, честно на собачьем своем языке прося: «Ну, очисти ж...» — я отвечала, в густоте человеческой пошлости: «Не хочешь! Значит, не голоден...» И он понимал тотчас и ел — из деликатности. Иногда — не ел, но так тогда извинялся, откланиваясь всем телом, уже полувыросшим, скрывая глаза — стыдившиеся. Тогда я думала о том, что Тоня кормит свою кошку Жанну щедрее, чем я Домку.

Свыкнувшись снова, что он опять со мной, я черствела патологически быстро, пожиная плоды немислимого корня, звавшего: «Друг, да, конечно. Но я — человек, а ты — пес». Но судьба прощала и тушила мое зверское среди людей одиночество собачьей тенью рядом со мной — везде: у маслозавода за пахтой, которую я ему разводила водой, наливая в черепок мало (пахта из-за ее дешевизны попадала в бидон не часто: разбирали); у почты он не убегал уже, умнея, уж не терялся; у лавок, у чайной, даже у двери уборной ждал меня терпеливо, как черный мой кот Катус, дальневосточный, годы назад.

ГЛАВА 9. ПОТРАВА. СТРАСТЬ К ОГОРОДНОМУ ДЕЛУ. ОЧАГ

Мой день делился между двумя домами — тем, где я живу, и тем, где буду жить. Еще он был только кучей бревен и мха, а уже случилась на моем участке беда.

Я мирно шла по селу, кончив свой дневной труд на огороде, предвкушая, после картофельного ужина, часок чтения или писанья писем, когда, увидевши меня, две бабы в платках заспешили навстречу:

— Беги, беги скорей — к тебе скот вошел!

Я не сразу поняла. Потом мгновенно: потрава! Я бросилась бежать. Но ведь путь был не меньше версты! Я бежала и останавливалась — вдохнуть, и снова бежала... Я уже у плетня! Он стоит, это ошибка! Увы, близорукость не сразу дала мне увидеть лежащие на земле прутья и колья — подальше. Кто-то бегал по моему огороду, крича и маша палкой. Схватив хворостину, я вбежала сзади в разоренный плетень. Скота уже там не было — мирно, как всегда, бродили за ним коровы, пощипывая траву. А там, где плетень стоял, рыжая корова доедала мой последний капустный кочан. Заслыша мой бег и крик, она подняла голову — и с совсем не коровьей прытью прыжком перемахнула через снизившийся в этом месте плетень, легко, как балерина. Соседи рассказывали — каждый по-своему — беду. Сочувствовали:

— Говорили мы тебе, не сажай, пока в дом не войдешь...

Картина разрушения была страшная. Сколько труда! От 150 — завивались уже! — кочанов (сытость зимы, мечта!) стояли обглоданные корешки. И вся сотка бобов и гороха потоптана и загажена. Слезы шли... Женщины меня утешали.

170 рублей мне ведь стал (сколько — охотных — лишений!) плетень вокруг огорода: шестнадцатилетний соседкин сын Коля, натаскав тальника на себе вязанками, сплел его и вкопал колья. Солнце палит, сушит болото, но сушит и плетень. Сзади он — реденький... Уже уплатила! Ходила к Коле, просила: «Подправь! Скот раздерет рогами, войдет!». Коля смеялся: «Что вы, бабушка! Никогда не войдет, и не думайте!..» А теперь его нет, уехал куда-то... В слезах плачу ребятам, таскают тальник, стараются... Из всех сил стараюсь и я. Плету, связываю... Почти все уже посадила! Посадки меня утешают: «Мы ведь растем!..» Но капусты уже не будет...

Но овощи подымаются. И русский старик, уж 17 лет тут «местный», опершись на плетень, мне:

— Хвалю, хороша хозяйка, на твой огород и глядеть охота... Все чин чином...

А у меня из-за спины — крылья!

Культуры взойдут здесь редкие...

И лето помогает: шлет дождь — в меру, поливает всходы, на дорогах не грязь, стало много легче ходить, чем год назад, в лето приезда.

Плотники — бородатый отец и тоненький сын (ему отдавая дочь, так плясал зимой на его свадьбе мой хозяин) — пилят, стучат, сколачивают мою конюшенку. Вымерив веревкой линию фасада по прямой от соседних — далеко друг от друга — домов, поставили 4 лежки (короткие чурки) и на них (вот и весь сибирский фундамент) кладут ряды бревен. Для двух венцов низа добыты бесхлебьем новые бревна, от них чудный дух пьянит не хуже, чем хлебный.

Медленно день за днем подымается домик на зеленом мху вместо пакли (на пакле стены в селе только у богатых домов), пышные изумрудные лохмотки меж венцов напоминают сказочную лесную нору. От полуголодного ли желудка, от тайного ли восторга лицезрения — этот жар, сжимающий мне нутро? Сколько дней уже (плотники — дело известное — как захотят выпить, а хозяйка-беднячка не поднесет, слезают наземь, бросают работу, идут в село — да и не возвращаются до утра), — сколько дней в лихорадке слежу, как подымаются бревенчатые, из старых бревнышек, стены: и когда люди уходят — мой час: я захожу в свой безкрыший «дом», не веря глазам, шупая, нюхая, мерю, насколько против вчера поднялось, какой будет. Вчера — до пояса было, сегодня — почти до плеч. Неужели послезавтра я буду стоять меж стен с головой вровень, в мой

невысокий, но все же человеческий рост?

В дни, когда кончалась у меня конопатка и не хватило мха, перебравшись на лодке через речку в лес за мхом (мимо «шишкующих», самодельными щетками обирающих из кедровых шишек орехи на месте, чтоб шишки тут бросить, увозить-уносить лишь орехи), — я набираюсь питанья: хвойный воздух — и еще другого питанья — глазам для будущих зарисовок: увожу нежданные, как во сне, волшебства таежного пейзажа назад лодкой через речку (мох — на себе), гладью наших пустынных выселок. Ищу осоку с провожатой, девочкой; вырываю, по ее указанию, из сырой земли корешки уж облетелого хмеля — «Будет у тебя, бабушка, на тот год во какой хмель, брагу сваришь!». Жадно у всех, у каждого выведываю дотоле неведомые тайны земли, способы сажанья, выращивания, особенности растений. (Мне нашептывают: «Поросеночек? Курочку? А от гуся — все самая птица доходная — от ей мясо, яйца, перо, пух, и ест мало...») Мимо, мимо — без убийств — содроганье! — к чудесному миру растений, который полюбила навеки, — сколько сил хватит, не оторвусь!..

На моем участке было десять болотных кочек, их распахал трактор, а приезжий старик Басов Василий Иванович, степенный обстоятельный мужик-богатырь — и плотник, слесарь, жестянщик, — синеглазый и бородатый, сказал: «Богатая у тебя земля, чернозем! Про колодец первый год не заботься, яму вырою тебе — вода близко, болото было. А наводнения — не бойся, высоко и от речки далеко!»

...А сосед мой строил себе дом: поняв, что трудна вывозка леса из тайги, он стал строиться по-молдавански: столбы, кусты, проволока и замесы глины (материал его стен). Дом был длинный, несколько окон, комната, кухня. Ждал жену. Верно, и ночью строил — днем зарабатывал в учреждении: шпукатурил. Поразило всех, что он начал дом с крыши (соломенной): вкопав столбы, протянул на них потолок, и на нем под крышей, на чердаке — жил. Слезал — и клал стены: в огромной яме месили он и купленная им корова замесы с навозом, и этим он заливал и замазывал ряды кустов меж столбов, обвитых проволокой. Дом рос, на удивление соседей, на славу.

А у меня шла покупка плах на пол, вставала забота о потолке. О крыше пока — не мечталось: голодно мне жилось.

Уж наметили, где будут копать подполье, да за мхом надо бежать, хоть с полмешка еще самой притащить, платить больше за мох нечем. По улице — скот с поля, закат. Шум и тишина — вечерний оркестр. Ох, вечера эти... Вечера, дни, вечера... И вот сидят плотники меж стропил, на полу настеленного потолка. «Ну, мать, матку мы тебе положили! Как хошь — беги, неси выпить... Закон!»

Думала, отшучусь. Но денег — «нема»... Убедила! Поверили! Поверили — и я побежала в село — за лимонадом!

Как ни старались, чтоб перебранных старых тесин хватило соединить крутые стропила, — не получилось: часть крыши зияла дырой, а лишить себя еще чего-нибудь в еде значило слечь. Так мечта о кусках горбыля с лесопилки осталась мечтой. Как я буду зимовать в сибирских снежных заносах? Просить сына, и так славшего что мог — ведь семья! — и деньги, и посылки с овсянкой, сахаром, крупой, подсолнечным маслом, — просить не могла. Зато стекла — стопкой в углу, у двойных рам. Три окна на все стороны света (с севера — дверь): четыре купленных рамы, а с востока, над печью (будущей) — вертикально поднятое (в конюшне горизонтально лежавшее) маленькое древнее окошко. Соседи дивятся: чего в такой крохе избе таких два (юг — запад) больших окна? А я не налюбуюсь: сколько света будет! Сколько мук было с плотниками, торгу и споров из-за

косяков — скоро, скоро засияют стекла в сквозных дырах, скоро, скоро уж пол у избушки будет! — как только распилят мне тяжелых четыре баллана, чудом купленные, на плахи большие (лес далеко, от места купли ко мне дотащил — пожалел — сосед, застыдившийся своего обмана, моих голода и трудов).

Себе строил дом, знает, сколько мне каждый шаг стоит, видит, что даже сто граммов хлеба себе в праздники не позволяю, понимает, в какую беду ввел меня своей сметой и обещаюем скоро мне поставить избу. И тем еще, что хозяин бывалый — не поторговался за меня при покупке конюшни — целых три-четыре сотни ведь лишних! За себя и рубля бы не передал! Дешевы деньги в чужом кармане...

Но когда уже холодом дует в пустые мои оконные переплеты, а я со вздохом все плачу и плачу деньги хозяину за каморку — сосед вдруг входит ко мне, когда я, кончив труд в огороде, отмываю в миске, в избе, руки: «Ну, где тут у вас стекла?.. Застеклю...» Ликую, стараюсь найти какое-нибудь скудное угощение. И когда он, насорив полосками стекла, уходит, я, скрывая страх: «Сколько я должна вам?» — он уходит, махнув рукой.

Приходил другой — уж те где-то работали — плотник кончать пол. Ноги, привыкшие все время стройки ходить по обломкам и мху, не верят: по доскам! А под досками выкопан квадрат в семьдесят сантиметров глубиью (глубже войдет вода), два и два, — к зиме он будет полон картошки! Буду ее есть — всласть!.. В полметра ширины обходит под полом классически сделанная завалинка (победит даже память о страшной зиме у хозяина, где на полу, на мешке с соломой меж Тониным и моим топчаном бывало 5° мороза!).

С завалинкой мне помог добрый знакомый Сергей Тихонович, приходивший в гости к дорожным спутникам, — жил, все надеясь на лучшее, в углу нанятом, и картошки у него не было. Поработали с ним вдвоем тоже всласть — с кирпичами и глиной, не проберется мороз в мое подполье!.. В изнеможенье сели за горячее варево, сладкий чай и воспоминанья о Москве. А неподалеку от дома выкопана яма в метр квадратный — Басов занят был, у копавшего семидесятилетнего старика Парфена Никитича уж сапоги мокли, когда вылез, — будет к ночи вода! И пришла вода! Со страхом в глазах, сердце таскаю ведром воду, поливаю, что подсыхает по грядкам, хоть и не пора еще поливать, а радуются растения и отблагодарят овощами в суп...

ГЛАВА 10. ДОМ. ДОМКА

Шла молва о приезде врачебной комиссии, о комиссовке, о назначении больным и старым пособия. Я надеялась. Какой помощью это будет моему сыну! Может, и я смогу питаться не только бревнами, горбылем, лесом, дверью, оконными косяками, но и хлебом? Вспомню вкус молока! А «кошкина мама» с ее кошками...

Удивительная была сущность жизни, в тяжкие годы, в трудных условиях никогда она не лишала людей якоря надежды. Бросала им его — так неожиданно! Да, *существо* жизни была — Надежда. И должно быть, так было во все исторические времена! И ежедневный подарок: путь на почту. Если даже тебе там ничего нет — ни письма, ни книги, ни бланка, извещающего о посылке, — сам путь туда уже был костром, сушащим болотную землю.

Избушка медленно, но неуклонно росла. Крутые стропила для быстрого стекания воды делали ее сходной со швейцарским шалэ. Это сходство наполнило меня гордостью: из такого старья, без молока, без хлеба — и вот вырос же! Я войду в *свой* дом, к своему

огороду-кормильцу вместо того, чтобы хозяину платить деньги — «в трубу».

День, когда был перевезен скарб, был 4 сентября.

Мы летели с Домкой за забытыми досками и сломанным чайником. Мы сейчас вернемся в наш «дом»! Был вечер. Отец и мать Васи, добрые люди, вышли проводить и проститься. Но Домка вдруг, устав, заупрямился, стал бежать назад, останавливаться.

— Глуп еще! — улыбалась хозяйка светлыми Васиными глазами и гнала щенка хворостиной.

Но у меня нашлась корка, и я манила ею и доманила Домку до болота. Там, поняв должно быть, он побежал сам.

По широкой сибирской улице выселков кипит жаркая вечерняя жизнь — идет скот, бегут овцы, кое-где уже доят коров, кипит ужин. Я спешила до темноты «образить» наше девятиметровое жилье; керосина, да и сил идти его просить в долг — не было. Мы уснули, завязав дверь, не веря счастью простора, — Домка обегал, обнюхал углы, смотрел вверх на просвечивающие доски потолка.

Приходил плотник — доканчивать пол. А для крыши собирали фанерки, дощечки, как-нибудь дозакрывать голую часть стропил, чтобы не очень промокать от дождя и снега. Ни о тесе, ни о горбыле мечтать было нечего.

Стояла теплая осень. Близился день Воздвиженья. Я родилась в этот день. Мне исполнилось 56 лет. Задолго я позвала к себе «в гости» троих: Тоню, путевую спутницу Ольгу Семеновну — с того конца села, где она прилепилась к лесу хвойному крошечной избой, и Сергея Тихоновича. В этот день я сготовлю кашу из тыквы, может быть, даже поджарю картошки, еще плотник придет, надо же угостить сверх платы.

За неделю до моего дня рождения заболел Домка: лежит, не ест. Даже лакомое! В тревоге о нем и в страхе за свои глаза (нельзя поднимать тяжелого) — как понесу его в ветеринарку? — километра три туда и три назад, шесть. В мешке я понесла Домку, прижав к груди. Жара. Иду, стараясь шибче шагать, поскорее дойти. Шепчу Домке ласковости, спотыкаюсь о кочки. Улица села, потом лес. Тяжело. Но дойдем же! И дошли. И вот уже идем назад из добрых дверей большой избы посреди кедров, где стоит больной конь в чем-то вроде станка, где баба слушает пояснение фельдшера, как давать лекарство корове. Да другая ждет с поросенком. А мы уносим красный порошок, не растворяющийся в воде, — камала, и я буду сыпать его Домке в еду.

А Домка от еды отходит, и порошок плавает на нетронутым супе. Но по-прежнему он ходит со мной. У магазина мы встречаем пожилую учительницу, полную, добрую. Она любит Домку. Узнав мою беду, она ласково говорит: «Поправится...». Это слово греет меня. Я его помню все следующие дни — и годы с тех пор.

Покупаю Домке кусок хлеба — нюхает, ест немножко. Я высыпаю остаток лекарства — к вечеру хлеб съеден. Наутро ест жижу, густота остается на дне. Это мне в наказанье, что жалела псу гушину, что так много ее съедает, а ее так мало. Но жизнь прощает. Солнце светит по огороду таким щедрым, как в детстве, блеском, плотник стругает плаху¹ (каким трудом добытую), и мой черный кудрявый дружок словил на лету картошку в кожуре! на пробу! О, выздоровел! И жизнь катится, миновав болезнь. Плотник стругает, стружки взлетают золотыми игрушками, огород поднялся леском, конопля качают кружевом по земле тени своих волшебных елочек. Мы едим молодую картошку — амброзия! Горох! Бобы! Фасоль! А желтые солнца подсолнухов — зреют.

(1 Плаха — широкая доска).

Я варю в первый раз тыкву. Плотнику дам на второе.

Суется у самодельной кирпичной печки (сваляла удачно, с глиной, и когда ветер в ту сторону, куда труба (дырявое ведро), то чугушки так бурно кипят), я поспеваю поздно: из поставленной остыть для плотника миски жарко лакает Домка.

— Что ты делаешь!.. — кричу я.

Испуганный уже криком, он отскакивает, но я успеваю ударить его деревянной толкушкой (как поднялась рука?), он взвизгивает и бежит.

— Ну как? — весело спрашивает сосед-штукатур (его огород по ту сторону моего плетня, у него — уж наработал — нетель, поросенок и кот, он любит животных). — Здоров? А вы беспокоились...

Холодно. Стало дуть из старой двери, как из пропасти, — пошла я на лесопилку, заказала новую дверь. Сделали быстро. Без сладкого поживу до зимы!

— Не поведет теперь!.. — хлопал по гладкой поверхности новой двери с ней полдня промучившийся старик Басов, из далеких мест приехавший бородач богатырь. — А к зиме наберем с тобой досточек, да и заклею я тебе как-нибудь дыру-то на крыше!.. А коль хошь, чтоб тепло было, — не печника слухай, печник-то еще какой попадетя, а то и так сложе, что весь дым в избу поиде, — а ты на все окна, на дверь (сеней-то у тебя нету...) щиты закажи, фанеры листов тебе подочту, сколь надо, — обрежу тебе их, укреплю на вертушках, никакой те буран не троне!..

Увы, Домка заболел снова. Он не ел совсем и лежал, нос был горячий, и было немного густой слюны у часто дышащих губ. В этот день, когда я шла в село за хлебом, я позвала его. Он было встал, но, постояв, виновато махнул хвостом и вернулся назад — лечь. А я шла, живя там, где он остался, такой вдруг осунувшийся. «Завтра понесу в ветеринарку!»

Утром идти не пришлось — сосед, устыдясь своего поступка, проявил активность, увидел, что неладно с избой, собрал соседей помочь поднять ее: угол плотники косо поставили, правый бок нагнулся. Мое «шалэ» стоял как косою гриб. Пока всех собрали, и мы успели повисеть на шесте, который был воткнут под дом, а сосед-штукатур подкладывал, втискивал под угол толстую лежку, — прошло полдня. Наспех поев — Домка еду не трогал, — я снова завернула его в мешок и пошла в далекую ветеринарку. Теперь Домка казался мне легче. Фельдшер покачал головой, дал лекарство. Пихты, кедры, ели, бархатная лесная тишина. Домка дремал. В ларьке на берегу реки я купила кусочек мяса. Домка проснулся, понюхал воздух и протянул нос; было лизнул, да раздумал и повесил больную головушку. Мое сердце упало. Грустно прибрели мы в наш дом.

Бульон сварен — не тронут. Спустила его в подполье. И другое горе томило меня: взглянула вдаль и вдруг увидела, что каланча на селе — качается. Я протерла очки — все равно. Я прищурила левый глаз: качается. Прищурила правый: каланча стоит. Я закрыла глаза в испуге. Сжала рукой лоб, крепко. Крепко, себе, из мозга в душу: что-то с глазом! Испортился правый глаз...

Вчерашний шест, на который со всеми давила, и тасканье бревен, воды... Нарушала все время запрет глазника... И столько месяцев без хлеба, без молока. Значит, не я одолела работу, а она — меня... Что делать? Началось отчаяние. Я видела правым глазом все предметы искаженными: огонек, на который я взглядывала, — потухал. Мой песик Домка казался перетянутым посредине — как рюмка. Слово, которое я хотела прочесть этим глазом, — кружилось. Какой ужас!..

Но и это бледнело перед судьбой Домки. Лекарство я давала ему насильно,

раскрывая сопротивлявшийся собачий рот. Домка теперь был не младенец уже — отрок собачий. Его знали везде у соседей, он всюду подкармливался из свиных и куриных корыт более вкусной, чем моя, пищей. Дети играли с ним и с соседским щенком Моряком; крупный, хорошо кормленный, он был сильнее Домки, но не обижал его никогда.

— Дом-дом-дом! — кричу я. — Домка... Домка...

И он летит через улицу ко мне. И вдруг замерла наша жизнь. Кругом все жило, а у нас — болезнь, тихо.

В ту ли ночь это было? Ложась спать, я вдруг увидела страшное: Домка сел и, подняв голову вверх, стал захлебываться слюной. Она текла изо рта густой стеклянной завесой, и он вглатывал ее, пытался загнать назад. Она шла. Он глотал. Она шла неудержно, сильнее, чем он глотал, и он с мученическим терпением боролся с этим ужасом. Я стояла около него на коленях, закаменев от вида этого беззвучного героического страдания и от бессилья помочь. Может быть, я вытирала его тряпкой? Но второй внезапно в этот ужас вошел другой — мысль: бешенство? Меня обдало страхом. Что делать? Куда нести? Скоро ночь. Ветеринарка? — нет сил. И темно. Там его могут убить...

Домка, заглотив утекавшую струю, тяжело облизывался. Он увидел меня и будто кивнул мне мордой. Страшное кончилось.

Я, дрожа, встала с колен, но рассудок говорил: надо вынести его из избы: это — может быть — бешенство. Выпустить нельзя: дети, люди. Я закутала его, донесла до моей камышовой, на столбиках, уборной, впустила и с бьющимся сердцем заперла на вертушку дверь. Содрогаюсь, я бежала назад. Ночь была темна, шумел ветер.

Наутро я вошла к Домке. Он встал, слабый, приветливо помахал хвостом и пошел за мной. Пена у губ была мало заметна. Утишая сердцебиение, я подала ему пить. Если бешенство... Он лакнул раз, два, три и пошел. Остановивался и нюхал воздух. Уходит?

— Домонька...

Он обернулся и пошел на зов. Подойдя, ткнул меня мордочкой. Хлеб — не тронул. Я налила в черепок молока, он подошел, поднял на меня печальные глаза и, не тронув, пошел. Я не смела мешать ему. Его жажда идти, через силу, была сильнее всего. Он вышел на улицу и лег на солнышке, морду на лапы. Я ушла в дом — мести, таскать воду. Скоро придет плотник, надо варить еду. Может быть, я истощила Домку тем, что редко кормила хоть до полсыта? Жалела труда чистить ему картошку? А может быть, тот удар толкушкой?.. Как я могла?

Собаки весело играли на улице, его — давно ли — товарищи. Чували ли болезнь или в них человеческое равнодушие? К Домке не подбегали. Он лежал как раз там, где на днях прыгал на меня, кусая в игре руки, хватая зубами, и трепал платье, я тогда замахнулась на него. Он побежал и встал за углом, удивясь. И уже бежал на зов обратно. Давно ли?

А затем Домка пропал. Сколько ни глядели глаза — пусто. Нет Домки! Ушел умирать? Упустила! Как найти его теперь в восьми сотках картофельной зелени? И может, не в нашей с ним, а в чужой — у всех по двенадцати, по пятнадцати соток... Да и разве пустят искать? Я обежала все дворы, забегая во все избы, и звала, звала. Пошла в померкший овощной огород. Елочки конопля кланялись в ветерке, утешали: мы еще у тебя есть...

Почему ушел Домка? Неужели уж чует смерть? От насильно даваемого лекарства? Или по старым местам, где вкусно кормился, где крал у свиней, — нет, уж не до того... Ведь молока не тронул!

Громкий голос соседа звал меня:

— Да вон он, собачонок ваш, за кадкой! — Голос смеялся. — Живой!..

— Ох, спасибо!

Я бежала со всех ног. Домка встал, шагнул навстречу, лизнул руку. Я уносила его, как добычу. Я ликовала его теплотой, движеньями ласки, улавливая искру бывшего веселья в попытке зевнуть, шаловливо щелкнув зубами. Я смотрела счастливо, как он тихонько, осторожно встряхнулся, как шагнул к черепку, глотнул мясной суп, на котором плавала камала, — о, может, весь этот ужас смерти — пройдет? Пена ведь не шла больше! Он бросил пить и медленно, с осторожной жадностью съел (а за ним и я соскочила в подполье) три маленьких кусочка сырого мяса, наскоро посыпанных камалой. Ел и махал хвостом и, съев, привалился ко мне боком — благодарно? Усталостью? Терся головой, лизал руку и вышел за мной к печке, где я варила ему. Как звонко чирикают воробьи! Розовые облака по небу. Вечером Домка ожил, и жизнь ворвалась в дом! С грязными лапами он прыгнул на одеяло, и я шлепнула его. Спрыгнул легко. Выздоровел!

Басов пришел! Сидит за тарелкой картошки, считаем, сколько листов, сколько рублей — да его труд... Ох! А печи-то нет, а ветер все холодеет — где найти печника? Сосед на все руки, да и у себя еще не клал печки, придет ли ко мне и за сколько? И когда еще одолею кирпич, железную плиту, задвижки, колесники (впрочем подняла водяную яму и дверь). И дров — полена! Пока — щепками, а потом? Знобит — от дум... Не велико ли дело задумала в маломощности — свою избу!..

Басов ушел. На ночь, чтобы не расставаться, я положила Домку в ногах на свой топчан, на подстилку. Он лег между мной и стеной, привалился, грея меня и мною греясь. Ночь была свежая. (Как далеко еще до печки: ни кирпичей, ни железных ее частей, ни печника.) Страхом ползло по мне: а вдруг это улучшение — перед смертью? На другой день было Воздвиженье. Плотник не работал. Мне исполнилось 56 лет. Я сварила для гостей много овощного густого супа, нажарила сковородку картошки, нарезала кусочками хлеб. На блюдечке был мед. Вскипел чайник, но гости не шли. Забыли?

Все остыло. Никто не пришел.

Домка еду не трогал и все извинялся. Когда жара спала, он вышел и, озираясь, сел в кучу камыша (запасенного для сеней). Затем встал и пошел в дом. Постоял и сел в свой ящик. Но и там не остался. Остановился на пороге и тихо пошел по солнечной стороне к чужим домам. Он шел через болотные кочки слабо и медленно. Иду за ним; беру его на руки. Лижет меня, но пытается — на землю. Отпускаю его. В горле — ком, спутник беды с детства.

Девочка, пробегая, погладила Домку. Он благодарно помахал хвостом. Он стоит посреди пустой сельской улицы, нюхая воздух. Еле бредет дальше. Снова стал, дивится ли перемене всего? Худой, в несколько дней став старичком из веселого пса-подростка, он прислушивается и принимает к знакомой, незнакомой земле, травам, запахам; грациозно и кротко переносит непонятность метаморфозы: потеряв силу движенья, бег и игру, он сохранял — ласковость. Вытянул умирающую голову.

Я стояла, истукан, слезы текли градом, и было чувство стыда, что подглядываю то, что нельзя смотреть. Я стерегла его, прячась за дом, чтобы не смущать. Не звала — чтобы он шел куда хочет. Чтоб свободно выбирал смерть.

Прыгая и кусаясь с другим псом, весело лая, летит Моряк. Он бегло взглянул на Домку, и, минуя его, оба пса унесли. Домка приветливо машет вслед хвостом и, будто старчески отдыхая, сторонится их шумного бега. И все кланяется. В небе тихие краски,

предрзовость близящегося заката. Идет свинья — огромная, тяжкая, громко хрюкая. Домка поклонился и ей, и ей помахал хвостом...

Его *прощанье* с оставшейся жизнью было так явно, что я больше уже не могла. Я душила рев в постель — в нашу. Ждала. Ждала — придет ли домой. Простясь с теми домами, у которых играл с собаками и детьми, где был волен, сыт, счастлив. Вспомнит ли о нашем с ним доме?

Закат горел — отпылал, и я вдруг вижу, как черненькое, худое, с торчащими костями создание, низко пригибаясь к земле, повертывается — к нашей избушке. Домка идет, еле ступая, медленно, с усилием. Домой. Я ждала у калитки. Он переступил ее высокий порог, кивая мне мордочкой. Она будто опухла. Поднял бровки. Блеснули глаза. Он лизнул мне руку и со мной вошел в избу.

Я взяла его на руки. Показалось, он холодеет. Я положила его, бросилась за мясным бульоном и стала вливать его в рот. Он противился, я понемножку лила. Зарычал, укусил! Первый раз! Достоинство умирающего: не трогай! Уже не надо мне, не хочу!..

Он был слаб лечь на постели. Спрыгнув, он упал бы. Мы легли на полу, на сеннике, вместе. Он положил мне головку на руку. Стемнело. Я слушала. Он вдруг перекинулся. Потом встал и метнулся к двери.

— Нет, — сказала я твердо, в слезах, — нет, Домка! Туда не пущу! Здесь...

Он понял! Порывом тела кинул себя о дверь, лег длиной по ее ширине, вдоль порога. Он лежал и дышал. Я смотрела. Но я была очень уставшая, я не знала, сколько он будет так лежать, я взяла тарелку с натертой морковью (для глаза), меда с блюдца и стала есть. «Подкреплюсь...» Но стыд брал верх. Перестала. Я и до сих пор не могу простить себе этого. Я присела перед Домкой у порога и тихонечко, еле-еле стала гладить его лапки и лоб. Он закрыл глаза. Вздрогнул. Два раза дохнул и два раза — еле — оскалился. Что-то перекаатилось в пищевode. И стих...

Я встала, не веря. Вот он лежит, все такой же, а его уже нет. Ночь — и я. Завтра пойти к Тоне... Я сшила матрасик из марли и тряпок — на дно его ящика. Бережно подняла еще теплое пушистое тельце, положила его туда. Он занял весь большой посылочный ящик. Как вырос! И перестал расти...

Я вышла в ночь. Холодную, черную. Сорвала мак, листки положила на лапки. Он лежал на левом боку, правую лапку — вперед. Кудрявая черная шерстка, желтые подпалины у глаз и у лап. Худой. Медленно остывал. Покрыла марлечкой и легла. Как тихо...

Наутро соседская девочка предложила мне закопать его. За три рубля. Они были. Я отказалась. Сама! Вред глазам? Все равно! Это же последний долг! Я вырыла могилку. Я думала о нем когда-то: «Какой у него нрав? Собственно — никакой. Обычный». Боли боялся... А как кротко, как доблестно умирал...

Я схоронила Домку перед самым порогом, повернув ящик так, как он лежал на пороге. Скоро будут камышовые сени над ним. Он останется в нашем с ним доме!

ГЛАВА 11. ПОСЛЕ ДОМКИ. ОБМАЗКА ИЗБЫ. КОНЕЦ РУСЛАНА

Я живу, и я думаю: он хотел удовольствия от еды, а я, любя его, хотела, чтобы еда для него была только существованием. Даже грубо говорила не раз: «Ну, придется тебе поискать другого хозяина...» Не понимая, что говорю! Искал тепла — гнала с постели. Дала и тепло, и еду любимую — перед смертью, когда уж не мог... Счастье вспомнить, как

несколько раз еще до постройки дома давала ему большие куски хлеба. Как хватал! Может быть, я погубила его ударом толкушки за плотникову еду? Эта мысль была нестерпима. Но встречаю хозяйку Моряка: Моряк заболел! И все — как у Домки. Собачья чума? Передаю Моряку наследство от Домки: лекарство (в первый раз ведь Домке помогло). Но Моряк погиб — точно такой же смертью.

Накануне я думала: как мне узнать, хоть во сне, виновата ли я? Вижу сон: земля, могила. Из нее — вышла? — черная, побольше Домки, собака. Кудрявая, как он. Ко мне... и стала исчезать. Могила, пустая осталась. Я проснулась. Пришел! Во сне! И сказал: все — там. А земля — землею...

Как помог мне в горе моем огород. Работа! Дорастивание овощей до глубокой осени... Они росли, они были живые...

...Жизнь шла. Через мою тоску по Домке. И надо было за жизнь биться.

Соседи хоть и любовались моими успехами, но, трогая тонкие избяные бревнышки, головами качали: «Как зимовать будешь? В ней кони жили, им што, а ты... Кровь-то не греет, стара... Мазать надо, без обмазки — какая зима?»

Крепко думаю: месить — это что, научусь, одолею, но беда — воды для глины греть негде, а холодной — что буду делать, если грянет возобновление ревматизма? Полтора месяца ведь висела на Дальнем Востоке рука... И месить — наклон запрещен глазам!

Осень спешила. Ребятишки копали глину, а я собирала навоз. Сколько тазов вымесила с конским пометом для завалинки — а на избу — костями ляжешь! Кабы еще хлеб есть...

Напротив меня кончала строить избу чувашская семья. Молодая мать, черноглазая Женя, предложила мне помощь. Сторговались. Почти всю первую получку из дому — ей. Вымесит, обмажет мне избу! Спасу глаза!

О, какой же день был, когда вместо бревнышек меж окон замаслился густой слой зеленоватой (одна треть конского) глины! Хоть другие соседи спорили — не та пропорция, конского шесть ведер на десять (четыре глины), критиковали и тонкость слоя... Но я ведь видела, сколько работала Женя, разве бы я могла? И, щупая сбоку слой глины, я, как мать о потолстевшем ребенке, радуюсь: теперь мои стены мороз пробьет с таким же трудом, с каким Женя кидала на бревна пригоршни живительной густоты, размазывая их лопаткой, пришепывая рукой. А если щиты на окна и дверь (так советует Басов), о, я буду самым счастливым человеком в селе — я, одна из всех поселившаяся в конюшне! Даже если будет плохая печь, не умеющая держать тепло, — я буду от вьюги *защищена* — как смогла! — и дров надо будет добывать меньше...

Поздняя осень. Зашла навестить прежних соседей. Гусей уж не пара, а выводок, растет телка, овец уж постригли, связав им ноги и положив на бочок крыльцо. Лежат себе.

— А что-то Руслана твоего не слышно, Евгения Петровна? — говорю я, облокотясь о жердь.

— А его хозяин повесил, — без малейшего выражения в голосе отвечает старушка.

— Руслана?? Повесил??? Да ты что, шутишь, что ли? — сказала я, холодея и в бессильной ярости выжимая слова, грубо: — Сбесился он, что ли?

Поняв неверно, о ком вопрос, она встала и обернулась. С достоинством:

— Чего ему беситься? Чай, пить давала! Рукавицы себе шить хочет, на рынке-то ноне дороги... Из деревни посулились махонькую, хорошая, говорят, собачонка. Чего такого теленка кормить...

— Убить пса, который так служил, такую собаку... Большую — на рукавицы!.. Да как же ты ему позволила такое бесчинство сделать?

— А я ему велела... — беззлобно, бесстрастно ответила Евгения Петровна, глухая ко всему, что жило во мне и в Руслане.

— Такое *зверство*! Как он к тебе ласкался... Такая собака... *Друга* убили... Она уж не слушала, шла в избу.

ГЛАВА 12. БОЛЕЗНЬ

Без Домки я осталась одна, с моим испорченным глазом. И вот вся удача моя, после стольких трудных дней жизни в тишине, в своем уголку, вся радость об огороде, об уборке в подполье с такой затратой сил выкопанной картошки, о грудах моркови у каждой грядки, об усвоенном способе хранить в вязках лук, запасах разных сортов гороха, бобов, свеклы, редьки, чеснока — все рухнуло! Я бросилась в село, в поликлинику. Я добивалась осмотра врача. Но глазника не было. Мне предложили лечь в районную больницу — до выяснения вопроса о возможности вылететь самолетом в область, в глазную больницу. От меня шла телеграмма главврачу вологодской глазной больницы, ученице профессора Филатова, Евгении Васильевне Александрович, у которой я лежала в областной больнице в Вологде, просьба сообщить районным сибирским врачам о состоянии моих глаз и о необходимости срочного медосмотра специалистом. Ожидая ответа, я жарче принялась за работу.

Наконец сосед согласился класть печь. Холод уже был лютый. Никогда не забыть рождение печи! Как тогда венцы поднимались между мешков мха, так теперь каждый ряд кирпичей — на глину. Запах этот! — растущего очага, мое сдерживаемое волнение, мой страх, что может не хватить кирпичей, мои хлопоты над глиной — и почти головокружение от мечты, воплощающейся! Такой долгожданной, выстраданной... День и ночь, почти до утра печниковой работой до потолка поднявшуюся трубу, кирпичную! Вдруг ставшую меньше избушку, запах сырых кирпичей (будущего овсяного теста...), трепет счастья, когда затрещали в печи дрова и дым не пошел в дом! Разве это забудешь?

Но зима на носу, а завалинку вокруг избы из земли ведрами не поднять (подняла бы, терпеливо с утра до ночи носила бы — кабы глазам слепота не грозила).

Опять зубы на полку — и соседские ребяташки мне копают, носят и засыпают землей низ избы, в загородки из картофельной ботвы — сплела, закрутила ее, высыхающую: спасенье от морозов, бурана. Ставни? Пока мечта... Но уже лежит груда дров — три воза! До весны, может, хватит, если по разу топить.

Главврач больницы, милая, молодая женщина, передала мне через кого-то, что — до ответа доктора Александрович и возможности выехать — мне надо собираться лечь пока к ним: освобождается койка. Я лихорадочно — помогали соседки — убирала овощи в дом. У меня в это время жила — попросилась за помощь по огороду и дому — бездомная чудаковатая Валя, женщина средних лет, вперевалку за двадцать пять копеек носившая людям с реки пару ведер, тем жившая. У нее где-то в приюте двенадцатилетняя дочь Надя. Скоро и дочь поселилась у меня. Я было сперва не хотела: где моя тишина? Но мы с Надей так привязались друг к другу, что теперь мысль о разлуке уже была трудна. Надя не любила мать, осуждала ее, дерзила, я мирила их. Было решено, что они останутся у меня, пока я буду в больнице. Нежданно получив из дому денег, я спешно запасала дрова и камыш, вела с Басовым переговоры о сеньях; дверь для них есть — старая, снятая

со входа в дом. В утро моего ухода в больницу Басов работал над стропилами для сений. Вали не было.

— Смотри, Василий Иванович, — сказала я подавая ему руку, и его богатырская сжала мою, — оставляю на тебя дом! Ключ вечерами передавай Вале.

Надя плакала. Мы обнялись. Я пошла.

В палате было коек восемь-десять. Но я их не видела: меня отдали на попечение старшего терапевта доктора Райта, пожилого, опытного врача, а он велел мне лежать на спине первые недели в темных очках и даже сверх них — в повязке. Отношение к больным было отличное. Да и вообще на начальство в селе мало кто жаловался: были один-два помощника у начальника — малоприятные, но сам он — комсомолец Т-н — был превосходный человек и никому жизни не портил.

Врач Томас Яковлевич (предки его — англичане, уже несколько поколений в России сделали его совсем русским) был человек пожилой. Умершая жена его работала глазником, и он, годы прожив с ней, сблизился с делом лечения глаз. Он надзирал за мной внимательно; нередко присаживался на кровать и дружественно беседовал со мной. Кормили — для того времени — сытно и вкусно. Ожидая скорой поездки в глазную больницу, я, лежа без движения, толстела, подкрепляемая полученными за этот месяц двумя посылками — от сына с невесткой и от подруги Зои Цветковой (первую из которых по доверенности моей получила пожилая Таисия Еремеевна, носившая мне их по частям). Когда, простудясь в холодном коридоре из ванной в палату, я три недели не могла там купаться и вновь затем попала в ванную и увидела при вечернем освещении свою тень, я удивилась и ужаснулась: это я, всегда худая, стала почти толстой?

Доказательство того, как хорошо мне было в районной больнице и как я верила в помощь глазу от лежания и лечения в предстоящей глазной больнице.

Навещавшая меня Таисия Еремеевна делала это охотно, как бы даже увлеклась опеканьем меня. С комической миной, приглушив голос, она сообщала о старушке Ольге Семеновне, которой я дала доверенность на вторую посылку. Та заболела и передавала мне части посылки через Таисию Еремеевну. Видимо, последняя стеснялась высказать свои подозрения ясней «по воспитанности». Придя в следующий раз, она зашептала снова и, прищутив светлый и небесхитростный глаз, как бы через силу:

— В общем... не знаю, как сказать... Неприятно, конечно, но все же приходится, ведь я являюсь как бы передаточным звеном... Словом, мое впечатленье, что у нее все как-то... как бы это выразиться? Ну, прилипает к рукам, что ли. — И прищуренный глаз раскрылся в юмористической ужимке, и в обоих светлых глазах замутнелся хитроватый смех.

Как я вспомнила это, когда ко мне, много позже, пришла взволнованная Светлана, сожительница Таисии Еремеевны, проводив — стало возможно ехать — свою заботливую «мамашу» и обнаружив, что с ней вместе она проводила и свою меховую шубу... Ольга Семеновна же была и пребыла честнейшей из женщин!

Я совсем сроднилась с больницей и доктором Райтом.

И большим ударом был мне, после более месяца ожидания разрешения на мой выезд в город, отказ из области. Я почти пала духом! Из районной больницы меня тотчас выписали, и я с узлом поплелась ночевать — дело шло к вечеру — к монашенке Ольге Семеновне в ее крошку избушку у входа в кедровый лес вблизи кладбища. Как добро она меня встретила! Утешала и одобряла! А наутро она помогла мне донести мой узел через

все село — ко мне, бережа мой глаз. «Дома», в моей избе, мне на шею бросилась Надя. Она очень ссорилась с матерью, та чудила. С этих дней у меня началась бессонница — мучительное лежание напролет ночи в страхе возможной слепоты. Тяжкие ночи.

Я почти не смыкала глаз. Правда, что помощник начальника посоветовал мне послать вторичный запрос в область, «и мы поддержим», но кто ж знает?

— Успокойтесь! Разрешат! — утешал он. — Поедете! Просто как-то прочли невнимательно, что дело идет о *зрени*. — И помощнику своему: — Теряет человек зрение — понимаешь?

И все же и в тех днях были у меня радости: первая — Надя. Вторая — сени, такие лохмато-теплые, что, к гордости Басова, никакой ветер не проникал туда. Третья радость — соседская — через два дома — кошка, пепельно-серая, *очень* ласковая, появлявшаяся всегда внезапно, за что я прозвала ее Фея. Многие бессонные ночи она спала у меня в ногах. Четвертая радость — печь, печь, печь!.. Сколько денег, труда, грязи — и сколько счастья!

Ссоры Нади с матерью были мне нестерпимы. Валя, вынося горящие головешки, роняла их вблизи камышовых стенок сеней. Ее нельзя было оставить тут без себя в случае отъезда в Новосибирск! И я повела переговоры с соседом — пусть переселится на этот случай ко мне: теплей, чем в его большом неоконченном доме, и меньше пойдет дров, половина — моих, половина — его. (Я отапливала картошку.) Он согласился. Валя загрустила. Из области в морозные январские дни пришло разрешение. Мне давали провожатого. Вылетим 21 января, в Ленинский день. Стояли морозы. Я хлопотала об устройстве Нади в интернат. Как ее бросить? Рассказала положение. Начальница согласилась.

— Хоть и ссорились иногда, — сказала мне Валя печально, — а жалко мне уходить...

И мне тоже... Надя проводила меня. Мы обнялись, обе в слезах. Она усердно писала мне года два письма, кончая всегда: «Жду ответа, как соловей лета». Я отвечала.

ГЛАВА 13. НОВОСИБИРСК

Двухместный почтовый алюминиевый самолет взвился с шумом моторной лодки в такой мороз, что, не закутай я себя в присланную мне сестрой Лерой куртку из башлыков, и в шаль (шерстяную, подарок Н. П. Туполевой), и все старье теплое, что наскребла под пальто, ватное, — заболела бы. Ух, как холодно было! Но полету было всего — один час: до Оби и ее равнины.

Увы! В больнице нет места. Мой провожатый покидает меня.

— Как-нибудь уж сами устройтесь. Походите поищите квартиру!

Хожу и ищу. Сверток с вещами — тяжел (страх за глаз!). Мороз крепнет. Никто не пускает. Стучусь и стучусь в дома. Уж начинаю упрекать себя, что рассталась с моим провожатым, — не отставать бы и идти за ним! Не лететь же назад?! Разве во второй раз дадут мне путь в больницу? Слепнуть? Ну, хорошо — а сегодня что, замерзать?.. А отказы продолжаются. Я почти обессилела. Никто не пускал. Наконец я взмолилась к Богу: помоги!

На пороге — маленькая, худенькая старушка:

— В глазную? Нет места? Вы из района? Что ж, заходите, только уж вместе со

мною в комнате, отдельных у меня нет... Я швея, живу бедно...

Неужели «воспитанность» пресловутая, учащая не выражать чувств, помешала мне в тот час расцеловать ее, обнять? Я вошла в тепло, так продрогшая... Две недели, что у нее прожила, задыхалась от кашля — бронхит, и Гликерия Ивановна, милейшая женщина, лечила меня горячим молоком с чайной ложкой скипидара — вылечила! Как уютно, как хорошо мы прожили с ней! Наш старушечий поход в театр «Факел» — слушать Вертинского (кого в юности, в Москве, не слыхала!). Старый печальный певец после полжизни на Западе вернулся на Родину и поет свои знаменитые песни и свою там написанную «Молдаванскую степь»... Не в костюме Пьеро, уже — фрак, чинность, старость... Песнь о двух дочках — о близком конце, о том, как над его могилой пропоет соловей... И мы, две старухи, друг друга неделю назад не знавшие, еле удерживаемся от слез, как девушки, гимназические подруги. Чаепития, скромные обеды, длинные вечера. И слезы при расставании. (Долго потом я писала ей: «Гликерии Ивановне Бессемейной». Потом, как всё на свете, кончились письма. Жива ли она теперь?..)

А затем — больничные коридоры областной глазной больницы, профессор Ш-ая и ее свита, ассистенты, аспиранты...

Начиная с палат все было другое, чем в вологодской областной глазной больнице под начальством Евгении Васильевны Александрович, очень умной и очень доброй женщины, изумительного администратора: там был уют и ласковость — персонал был подобран, палаты небольшие, покойные. Тут было шумно в многокочных палатах, плохо кормили, с больными обращались грубо. Может быть, это тем объяснялось, что сама профессор Ш-ая бывала только на обходе, слишком доверяла помощникам? Она часто и сильно болела. При обходе ее все вокруг нас подтягивалось. Ее приветливость передавалась — на час — с ней шедшим. О, Евгения Васильевна, во всей своей обаятельной мягкости, видела насквозь, в руках держала больницу! Ее слушались не за страх, а за совесть. Помню, что кто-то окликнул меня по фамилии, она строго обернулась:

— Что это такое? В нашей больнице так не зовут человека: Цветаева! Надо сказать «Товарищ Цветаева!».

Тут нас вызывали по фамилии, и тон был повелителен. Но была одна женщина-врач — я забыла ее фамилию — и пусть, так лучше, — отличавшаяся мягкостью обращения. Пожилая, со вдумчивым взглядом, она, видимо, жалела меня — за тип болезни, плохо поддававшейся лечению, за возраст... При осмотрах ее у меня согревалась душа. Я ждала этих встреч, веселела. Как же тяжело я пережила ее внезапную перемену ко мне! Это было подчеркнуто, резко. Она не только перестала со мной говорить, ободрять, давать советы — она отвертывалась от меня, явно меня избегала, даже стала обрывать меня, и некое начало гримасы появлялось на ее лице при виде меня. Я колебалась между негодованием и унынием. Не понимала. Мне мерк день, я старалась понять, что произошло. Наконец я решила: тут клевета! Только узнав о человеке что-то поносное, подлое, можно было явное сочувствие изменить на оскорбительное пренебрежение. «Она радовалась мне, сочувствовала, пряча за спиной камень?» Я догадывалась о стиле ложного обвинения. Я, сказали ей, веду недостойную деятельность. Я пожала плечами... Мое лечение клонилось к концу, и нанесенная травма так и продлилась до последнего дня. Бог ей судья, как говорит народная поговорка! Но в отмщенье за обиду от интеллигентной женщины судьба послала мне дружбу с пожилой крестьянкой с Севера. Как мы сошлись! Как ласкова она была, как ко мне привязалась, как приглашала к себе — когда смогу! Старинно, полно достоинства было это ее приглашение. Широко отменяя в сторону

временные трудности страны, она звала, заранее радуясь встрече: «Сумею принять, не подумайте! У меня отдохнете, поправитесь! Мы людей понимаем...». В иные минуты и при подошедшем прощании она говорила мне «ты» — как сестре: «Приезжай, буду ждать тебя! Сын на станции встретит!». Высокая, ширококостная, с резкими чертами лица, седеющая. Глаза ее улыбались, светлые, и в осанке ее, в поднятой голове светила непогашенная стать русской женщины. Увы, мне не пришлось более увидеть ее.

В нашу палату положили девочку двенадцати лет. Ее готовили к операции. В раннем детстве лежала в люльке, ее родители поссорились, и отец ее кинул в ее мать — вилкой. Эта вилка попала в люльку, в личико ребенка, и как-то сместила, в полете своем, ее (помнится, левый) глаз. Как? Ведь орбита глазная не могла опуститься? Но так ребенок и рос с глазами не на одной высоте. Видел ли больной глаз — я не знаю. Деформация же лица была мучительна на вид — больше всех, разумеется, девочке. В двенадцать лет ей была разрешена операция, и маленькая пациентка готовилась к ней со страстной надеждой «стать как все»: ей это было, насколько я помню, обещано. Нелегки и долги были приготовления, она терпела радостно, мужественно. Операция удалась. Врачи радовались. Палата поздравляла выздоравливающую. Через сколько-то дней с нее сняли повязку: глаза были на одном уровне! Девочка ликовала...

...Трудно забыть день, когда — в первый раз — еще только неясно ей показалось: будто бы чуть ниже глаз левый. Как это могло быть? Но ведь его сумели поднять! Как? Все было непонятно. Глаз опускался к прежнему месту. Кругом молчали. Девочка уж не брала зеркала...

В нашу палату поступила пожилая больная, сразу меня заинтересовавшая. Начиная с отчества ее она привлекла внимание — Александра Северовна Стрельникова. Она приехала на операцию, и серьезную: у нее было отслоение сетчатки. (В те годы (1951) операция состояла из поворачивания глаза на нерве и мышцах сетчаткой наружу — что чрезвычайно болезненно, нестерпимо); электроприжиганием стараются помочь делу — без обезболивания уколами вокруг глаза. Больные в глазных больницах *знают* процесс той или иной операции, только на эти темы ведутся беседы в палатах. Конечно, и новоприбывшая знала, к чему ей готовиться. Но почти с первых слов, несмотря на близость операции, она шагнула в наш день совсем неожиданной темой: критикой неточных, подчас и неверных, как она утверждала, советов школы гимнастики по радио. Услышав диктующий голос, Стрельникова, точно получив, персонально, удар в сердце, повелительна протянула руку в сторону голоса:

— Выключите эту машину! Он сейчас сказал «выдох», когда надо «вдох»...

Степень ее волнения — пожилого человека (мне помнится у нее проседь), больного — заорожила внимание. Я всею собою повернулась к Стрельниковой. В ее тоне звучала не простая убежденность в правоте того, что утверждала, а сама правота о себе заявляла.

Так Коперник своим познанием, перешедшим в его *существо*, знал, что Земля *вертится*. И быть готовым идти за это на смерть было только естественно — если ничего другого от непонимающих нельзя было обрести...

Кто была Стрельникова по профессии, я не знала. Но много лет к ней ходил уже тогда известный Новосибирский оперный театр: она лечила — дыханием — оперных певцов, заболевания их голосовых связок, она вылечивала своей системой дыхания затяжные грудные болезни, заикание и астму. Каждый человек, ее помощи требовавший, был делом ее дня. Я не видела Александру Северовну стоящей, я не видела ее рост. Но представить ее себе роста маленького не могу. Выше среднего должен был быть рост

этого человека. Лицо продолговато, голова высоко поднята, черты выразительны. Интонации голоса не забудешь.

Мы сблизились сразу. Узнав, что я пишу, она оживилась.

— Отлично, — сказала она. — Я вам изложу всю мою теорию, расскажу практику этого дела. Вы все изложите — и мы издадим книгу.

Но мне пришлось огорчить ее: не назвав слово «ссылная» (а книг ссыльных не издают!), я мягко сказала, что мне надо возвращаться в район, где я живу, а ей — ложиться на операцию. Время нашего общения — кратко...

Какую тревогу вызвала весть об операции в Новосибирске, трудно передать! Сколько народу посещало Стрельникову, сколько ей носили цветов (а пора была зимняя), сколько благодарностей от вылеченных мы в палате слышали! Заики, астматики...

...Мы больше никогда не увиделись.

Тридцать лет спустя в Москве я вновь услышала фамилию Стрельниковой — Александры Николаевны! И это оказалась ее дочь, продолжившая ее дело, и развившая, и получившая авторское свидетельство. Она лечит многие болезни с большим успехом.

Когда я занялась этой дыхательной гимнастикой — а она легка и вовсе не утомительна, — я в 87 лет очень скоро и к большому удивлению заметила, что ей подчинились неожиданно ревматические и подагрические боли! (В дыхательных упражнениях участвует все тело.)

Мир праху зачинателя этого удивительного лечения — Александры Северовны Стрельниковой!

Лекции студентам надо мной — уколы из огромной кислородной подушки иглой под конъюнктиву глаза, неделя сонной терапии в общей палате! Люминал, веронал, бромурал — россыпью! Люминал прячу под матрац, с другими — мирюсь. Но каблучки медсестер слышу. На процедуры встаю как ударенная по голове мешком. Кучка мальчиков в серых халатиках. У большинства из них вынуто по глазу (рогатки, игра с порохом, самовыстрелы, стрельба из лука).

— Запретить рогатки, — говорит маленький северянин.

Увы, глаз мой не улучшается! Было хотели переливание крови: истощение, дистрофия! Узнаю, группа крови — вторая. Но ассистентка — профессору:

— Решайте, 56 лет... Надо ли? Организм углый...

И — к моей радости — отменили.

— Цветаева! — говорит мне ассистентка. — Как вы ходите! Запомните, всю вашу жизнь вы должны ходить так, как будто несете стекло, поняли? Иначе можете сразу ослепнуть...

Вспоминаю слова Александрович, сказавшей: «Запрет носить тяжести. Запрет наклона. Сон по 10 часов в сутки. Покой, режим дня. Иначе...» Да, но что я могла! Тяпать в наклон, таскать воду, бревна, когда не было денег нанять, — в чем себя упрекать? Так распорядилась мной жизнь...

— Цветаева, слушайте: тряская дорога вам воспрещена. Телеги, автобусы... Противопоказана жара. Никогда не ходите по солнцу. Не читайте и не пишите подолгу. Вы должны быть под постоянным наблюдением окулиста. Поняли? (Которого, думаю я, там, где я живу, нет. За почти 200 верст!)

— Понимаю, — говорю я учтиво.

Беседа кончена, а жизнь продолжается. Я лечу назад в Пихтовку — навстречу

огородным работам. Март...

Мы летим вдвоем, две больные, в санитарном самолете, занавесочки, два окошка, два мешочка — в случае тошноты. Не тошнит. Смотрим в окошки. Забавно, но неинтересно: точно в газете — план местности: дороги — ниточки, леса — садики, отсутствие пейзажа. Воздух — весенний!

Отчего я, не перенося малейшей морской качки, радостно погружаюсь в воздушные ямы? Приятно...

Г л а в а 14. ТРЕТЬЯ ВЕСНА В СИБИРИ, ПРИЕЗД СЕМЬИ СЫНА

Что ждало меня в моем домике! Марля на окнах — черная. Вещи сдвинуты. Деревянное корыто — поило теленку (родился соседский). Глина, солома. И в конце моего топчана, за печкой, — сам теленок; валит на пол (на те мои плахи...) и прудит (на мою картошку!). Так мы прожили втроем (впрочем, Фея нас посещала!) неделю. Затем сосед ушел к себе, а я, засучив рукава, в наклон — тру, мету, мою... Седьмой пот!

Весна! Как время летит! Я стою на нашей улице Куйбышева, — я ее полюбила: тихая, широкая, и сколько она видела труда нашего тем первым летом, еще без жилья, его рост труда — осенью, зимой: переборка овощей, почти постоянная, а осенью — таскание их с огорода, сушка, спусканье в подполье и закапыванье в землю моркови (год назад капуста моя не удалась, потравили. Зато теперь, с починенным плетнем, будет много ее). Видела улица — ровно год назад! — как мы выходили, приготавливали землю к посадкам, как радовались за меня соседи, что мне не надо трактора, земля — мягкая... Так же вот стояла я, принюхиваясь к свежему, по-весеннему, воздуху, к отдыхающей от снега земле. Но теперь я приглядывалась к тому, что вокруг моего дома, к сизым и коричневым далям вперед от домика и влево и вправо, за ним далеко-далеко — синь зеленая леса, до которого идти и идти... Мечтаю: с кем я до того далекого леса дойду, увижу, что там — одной страшновато и как-то тоскливо!

Ранней весной, как только я приехала из глазной больницы, ко мне стала приходиться старушка Ольга Семеновна. Хорошо знакомая с огородным делом, видя мое незнание, она первая из всех стала учить меня новой моей жизни, подробно рассказывать особенности овощей, что можно сажать рано, что поздно; что — нежно, что — морозоустойчиво, и вторые мои посевы и посадки шли под ее терпеливой и усердной рукой. Она приходила иногда на целых полдня, у себя отработав, и не только не соглашалась взять за помощь хоть что-нибудь, но еще приносила с собой то хлеба, то овсяную лепешку, то печенья, полученного в посылке, то миску овсяного киселя. И еще задолго до того, как мы со Светланой достоверно узнали, у кого прилипало к рукам (увезенная при отъезде шуба), я поняла, что намеки игравшей в уют старухи были чистойшей и злой клеветой.

Лена Добрая! Одно из ярчайших, веселейших, достойнейших сибирских моих впечатлений! Как бы о ней рассказать? Лет 50 было ей — крепкая, смуглая, краснощекая (молдаванка). Распахивала дверь — и с ней входили силы, стремительность! Вмиг, поглядев вокруг, решала, что надо делать — помочь, научить, исправить. Бесподобная хозяйка, ни в каком положении не терявшаяся, работавшая «за мужика и за бабу», затейница, день превращавшая в вихрь начинаний. В ней жил дух новаторства — и на все хватало сил и веселья! Лена Добрая унывающая — невозможно!

Жила она со взрослой дочкой, красавицей в мать, незадолго вышедшей замуж: жили вместе в только что достроенной избе, дочь и зять на какой-то «чистой» работе в селе, Лена — домоправительница, успевавшая заработать себе помощь в любом доме по

растущим выселкам. Имя улице дали — как уже сказала — Куйбышева. Мне пришлось № 3, хоть избушка была крайняя, ее огибала дорога вдоль бока — плетня. Дом Лены Доброй был по моей стороне, в самом левом конце улицы, если стать спиной к селу; она огородничала увлеченно и с толком, все умела, все успевала; сверкали в смехе белые зубы, веселились сознанием силы карие большущие глаза.

Весна застала всех нас почти закончившими свои «гнезда». Тоня хочет поднимать домкратом свой домик, подрубать, надрубать его венцами нового леса. К ней собирается из Ташкента сестра, Тоня вне себя от счастья! Она копает весь огород — сама. Изредка, урвав час, мы навещаем друг друга.

Жарко кипит жизнь на улице, где живу. Дети, скот, собаки... (Только моего Домки — нет... Собаки не возьму, не надо, потому что его — не забыть.) Наводнения в том году не было. Настает жара, дождей почти нет, от болот почти нет следа! Хотели осушать район, а он, нам навстречу, — высох. Где-то горит торф...

А я — в новой горячке: я учусь, как месить глину по-молдавски у Лены! Она мне шпукатурит внутри домика: вместо глиняных ям стен (под которыми недели моей прошлой работы с молотком в руках — артистическое забиванье им рядов мха по пазам — конопаченье!) стены становятся гладкими, как белый шелк, а когда они высыхают, Лена Добрая ведет по ним пышной и туго сжатой самоделькой мочальной — и, как волшебные заросли в «Спящей Красавице», струи узоров до потолка. Ровной растет избушка, белая стала (глиняной, неровной была всю зиму). Серебристая панель с узорчатыми столбиками — колонки! Потолок горит белизной, сон! Муж дорожной спутницы Нины, художник, учит меня красить масляной краской пол, и я, взяв кисть, ползаю, крашу до одурения и не верю глазам: *красота! шоколад!*

И вдруг — весть: сына арестовали, шлют куда-то далеко. И невестка с детьми едет ко мне! Не чудо ли, что у меня готов домик? Сын будет и за меня, и за нее с детьми спокоен: огород есть, не пропадем! Будет слать.

О, я не хуже Тони — сестру Капу — встречу своих!

Сын невестки от первого мужа (13 лет) провалился по русскому — не перешел в шестой. Займемся! Перейдет! Дочке три с половиной года. Рита. «Укращение жизни!» — думаю я и брежу от радости и усталости. Сняв одну из двойных рам, я вставлю ее горизонтально в сени — а сени — не верит глаз! Камыщ, послужив зиме, снят! Куплен и привезен воз горбыля, и Басов строит мне сени настоящие. Это о них в песне поется, — детской, старинной:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Тут будет жить мальчик. Раздобуду столик — будем заниматься. Пол земляной — дело к лету! У меня на всю семью хватит домика (летом «двухкомнатный!») Через раскрытое окно глядит в побеленную узорами комнатку, на шоколадный пол — соседка (богатая!).

— Просто царские хоромы сделала, своих ожидаючи... Ай да бабушка, молодчина!

А бабушка хочет — хлеба... Избаловалась в больницах! Вот кончу сени, найму окучить картошку — тогда уж начну есть хлеб!

Как рассказать жизнь? Дни с семьей — там, где моим голоданьем и непосильным, но веселым трудом на болоте стал домик... Второй год огород подымается!

Сизая, бледная синева, тонкий запах гари далекой, и над пустырем возле сужающегося к концу плетня, где еще два года назад были болотные кочки, над засухой огородов — легче мотыльков, бело-серые жаркие куски пепла — с пожарищ. Упадет такое на сухую, как солнце, крышу — и пойдет полыхать село... Но снятые с работ и мужчины и женщины, день за днем привозимые в лес, тушат землей огонь. Их одежда прокопчена. Люди борются, огонь отступает...

Как похожа внучка Рита на своего отца! Совсем в детстве! Тоже большие глаза, тот же смех! Хороша!

Приехали мои! Трое... Непонятно и весело.

— Отдыхай, — говорю я невестке, — на работу уже с осени!

У нее есть крупа, у меня — овощи.

Лето. Но лето без влаги дало урожай скудный. Прошлый год с его избытком — сон! Одни ягоды радуют, но и они на кустах сохнут; ходим — неподалеку — с детьми. Сорок дней почти не выхожу из сеней, где занимаюсь с внуком русским, заодно арифметикой и немецким. Пройдем немецкий учебник пятого класса (на Урале, где после меня жили они, был английский). Торжественно выдерживает экзамен. И переходит в шестой! Синеглазой внучке моей, почти четырехлетней Рите, рассказываю русские сказки, у дома «Ритин садик», она там играет с соседками, чувашской и русской девочками.

Но в заботах дней об устройстве с детьми, хозяйстве, помощи мне на мое предложение пойти до того далекого леса невестка деловито спросила:

— А туда зачем? Ягоды там? Грибы? Не знаете? Так чего ж так далеко идти? Грибные места знать надо! А то зря и проходим...

Я стою и смотрю на далекий лес. Год мечтаю о нем.

А земля ждет дождей. От поливки — как оживает!

Вскоре утвердился слух о пособии нетрудоспособным. Комиссия назначила мне, как и другим, пособие — сто рублей (пореформенных).

То же стал получать и Яков Иванович. Но у него, кроме пособия, уже не было никаких средств к жизни. Стал болеть; хозяйки придирались, им не нравилась непригодность к сельскому быту старого инженера, его беспомощность. Не ценили его кротости и веселости, преследовали за малейшую оплошность. Жена его, с которой он давно разошелся, сварливая и совсем иного духа, чем он, воспитала сына во вражде к отцу. Забыли они, как щедро он платил алименты сыну, какие подарки дарил, когда был в силе! Ни жена, ни сын не слали ему помощи. Я, как и Тоня, радовалась каждому приходу его к нам, мы сопровождали их корзиночкой овощей — чем иным могли мы помочь? Но человеку кроме овощей надо еще многое...

ГЛАВА 15. ДРУЗЬЯ МОИ

Лиля первая в их черед, мне славших помощь уже 13 лет! Елизавета Яковлевна Эфрон, сестра Маринино мужа Сережи. О ней есть в моей книге «Воспоминания» (в лето 1911-го в Коктебеле). А вот ей стихи М. Волошина:

...Полет ее собачьих глаз,
Огромных, грустных и прекрасных...
...И звонкий смех, неудержимо
Вскипающий, как сноп огней,
Неволит всех, спешащих мимо,
Шаги замедлить перед ней.

Тяжелый стан бескрылой птицы
Ее гнетет, но властный рот,
Но шеи гордый поворот.
Но глаз крылатые ресницы,
Но осмугленный, стройный лоб,
Но музыкальность скорбных линий
Прекрасны. Ей родиться шло б
Цыганкой или герцогиней.
Все платья кажутся на ней
Одеждой нищенской и сирой,
А рубище ее порфирой
Спадает с царственных плечей..

И вот она, старой уже пенсионеркой, первая из всех отважилась на столь трудную помощь тогда, от себя отрывая последнее — крохи пенсии, мне на Дальний Восток (как и сестра моя Лёра). Лёра продолжала эту помощь и теперь. Она слала (как и мой сын, когда мог) самое нужное для существования. Уже не имея сил заработать, Лиля, живя на пенсию и болея, знала то, без чего нельзя жить, в этом ежедневно нуждаясь. И ее посылки, стремительные, как она, приходили всегда в те дни, когда в доме бывала одна картошка с каким-нибудь добавлением овощей; когда мечталось о том, что было забито в ящичке, с торжеством, умилением и благодарностью дотащенном через село, через пустыри домой!..

Верочка Молчановская! Мне надо когда-нибудь о ней написать, если хватит таланта; а пока — вот, в череде людей помогавших: наша дружба с 1928 года, совместное учение английскому, увлечение языком — на основе (у нее, как у меня, ей семьей данных) двух обычных языков интеллигентного круга — немецкого и французского. (Дружба — сразу — как в отрочестве, в гимназии Потоцкой, с Галей Дьяконовой — Элюар-Дали; как в юности с Майей Кювилье-Кудашевой-Роллан, с Аней Калин (отрочество) — иначе: вражда и любовь.)

Высокая, светловолосая, светлоглазая Верочка (глаза велики, даже через сильные очки для близоруких). Тип шведки; насмешливость и в речи и в смехе (под ними горячее сердце, скрываемое). Когда я оказалась в беде, она стала слать мне посылки и деньги: последние аккуратно, день в день — как клерку зарплату, из заработка языкового. Задолго до того, как назначили мне пособие как нетрудоспособной, и ту же сумму: сто тогдашних рублей. В посылках же всегда были неожиданности — как в ней. Среди наинужнейших предметов питания вдруг детская книга английского юмора с картинками, кукольная посуда Рите. Что-то неожиданно-прекрасное — Синяя птица в наш трудовой день...

Вот в этом они были схожи с моей сестрой Лёрой: Лёрина любовь к красоте создавала из ничего — нечто. И была страсть к фантастике в каких-то излишествах и отделках нужных в избе предметов, и кусочки лакомств, всегда где-то спрятанных, и что-то для души в уголке посылки — так она, верно любившая «Розу и Крест» Блока, прислала мне чудом где-то добытую маленькую картинку на этот мотив, нежный блеклый цветной рисунок, эмблему, давшую мне столько счастья, — над подпольем, завалинками и таялкой для снега... И все эти то абажур, то старинная кружевная рубашка, то талисман — последний хрусталик люстры дома нашего отца в Трехпрудном, который храню до сих пор. Сама архитектура посылок Лериных была так же сложна и обдумана в их разностильности и сюрпризности, как сложны и до мелочей внимательны и продуманы к моей новой жизни были ее письма, полные полезнейших советов, участия во всех

трудностях моего дня. Думаю, у нее было меньше грехов, чем у каждого. Но будь она даже и грешницей — много грехов, как в народе говорится, было бы ей прощено за одни только ее мне посланки, за мысленную и действенную переселенность в мою избушку, за страсть помочь.

И так же, как Верочка Молчановская, она слала мне деньги — меньше той, потому что уже не работала, ей было уже под семьдесят, но так же аккуратно, как Верочка! Много значит аккуратная помощь в нужде! Расчет нуждающегося на то, что получит столько-то и тогда-то. Благословенная бухгалтерия бедности и любви!

Посылки Зои Михайловны Цветковой, друга с 32-го года (мужа ее я знала с 1919-го); как сама — внезапная, так появлялась и помощь — как праздник. Вещи шли дорогие, размаху широкого, деньги — мне избыточные, неожиданные, — как вдруг затыкались ими тоже неожиданные нужды! Взамен рухнувшей кирпичной печной трубы — заказ железной, или подарком, брошенным наотмашь об избу, — лестница приставная — следить, не загорается ли в трубе сажа. Дети же — Гена и Рита — упоенно жевали небесные финики или после бессахарных времен — мармелад.

О, еще душа, не забывшая нас в беде, — Елизавета Моисеевна Гольдман, мать троих детей, вдова, в Москве за семью бившаяся, ее пределы расширившая...

Нина Петровна Туполева, добрая, чистая душа, отнимала от своих послать мне. Как грела ее шерстяная шаль во вьюге сибирской! Ее крупы, сухой компот... Она была давний друг, еще по лагерю. Этих друзей уже нет, как и Верочки и как Лёры. Мир праху их!

...Как случилось, что Яков Иванович мне рассказал такое свое сокровенное, чего не говорил никому в новой для всех нас жизни? Много лет спустя после ухода своего из семьи (где никогда не любившая жена, из корысти к высокому заработку за него вышедшая, без любви воспитывала сына в презрении к отцу — за что?) он встретил женщину, которая его полюбила. Он не звал ее по имени. Он ее назвал Друг. Не в разводе с женой, он не мог с ней записаться, и ей это не было важно. Счастье пришло в его старость и в ее пожилые годы. Как деликатна она была! Очень больная. На маленькой работе. Он помогал ей, лечил... Я слушала эту горькую старческую повесть. Потом мы поели картошки, выпили чаю. Уходя, он вынул из кармана записочку:

— Ее адрес! В случае чего. Я вам верю! Ведь все может быть...

Его лицо было худое, в резких тенях. Совсем другое, чем полное, добродушное, какое я запомнила в первую путевую встречу. И одет он был теперь жалобно, во все старое. Где плащ? Добротный плащ, топорщившийся с широких плеч? Продал? До холода ходил в пиджачке. Одна за другой уходили вещи, а с ними вместе таял он сам.

Его Друг писала ему. Но ничем помочь не могла. Их связывала только — Память.

Глава 16. КАПА И ТОНЯ. ЯКОВ ИВАНОВИЧ. ВОДА В ПОДПОЛЬЕ

Это было так. Я пришла к Тоне, она еще была на работе. Передо мной стояла старая горбоносая женщина, небольшая. Всею собою я смотрю в глаза вышедшей мне навстречу: длинные, синие, цветом близкие к цвету льда, когда его много. Теплый лед, растопленный в радости встречи. Изумительный, в себя зовущий, входящий в тебя взгляд.

— Ася? — сказала она — полувопросом? зовом?

И мы протянули друг другу руки.

Дотоле мне не нравившееся имя, плотное, плотское имя ее предстало мне волшебным изменившимся, прожив столько лет в душевной красоте его носившей, оторвавшись от

звучков своих, принадлежало — этой! Бесплотной, духовной? Не подходили слова...

— Капа! — говорю я. — Как я рада, что вы приехали! И как теперь счастлива Тоня! Она стояла, и смотрела, и улыбалась.

— Сядемте, — сказала она. — Вы, как и я, устали. Сейчас придет Тоня, и мы будем обедать.

Таким давним навыком к добру и заботливости, сливанью тебя с собою эти слова прозвучали... Да я ж всегда знала ее. Мы всегда были вместе! Как верно, что она — тут, разве она могла не приехать? Родной человек...

Не отрывая глаз друг от друга, мы беседовали не умолкая — о чем? Обо всем, обо всех, о себе, о ее и Тониной жизни, о моей, о будущем и о прошлом...

Вдруг, одним движеньем, мы встали — и обнялись. Молча. Была скорбь в этом объятии — и радость. Что-то из сказанья — о рае...

Были шаги. Шла Тоня. Она поняла — сразу. Началась наша жизнь втроем.

И к Тоне, и Капе, и ко мне приходил бедняга Яков Иванович огорченно пожаловаться на последнее разочарование: узнав о его обидах от квартирных хозяек, наша дорожная спутница, немка, та, говорившая мне о «Feintühlung», взяла его к себе на квартиру. Он было ожил — сперва. Но вскоре она стала к нему еще много придирчивей, чем прежние. Даже повышала на него голос — чего он никогда в жизни не испытал. Что было делать? Она притесняла его и материально — зная его обстоятельства. Мы в ответ приглашали его чаще приходить к нам — обедать; если не было у него ужина — ужинать. Давали ему с собой кусок хлеба... Он конфузился, отказывался, сдавался — под настоянием. Глядя ему вслед, каждая из нас, до калитки его провожая, до калитки выстрадавшего трудом и лишениями, но собственного угла, почти физически ощущала то состояние зависимости и нищеты, в которое его не меньше, чем его хозяйка, повергал этот в газету завернутый, драгоценный по тем временам кусок хлеба, прижатый к старенькому пальто.

Я жила с родными, к Тоне Капа приехала; мне в быту помогали невестка и внук, а от него отказался родной сын, им выращенный, ему не помогал никто... И мы возвращались втроем в Тонину «дачу на Рейне», баньку над речкой Баксой, толкуя о том, чем облегчить его положение. Теснота жилищ наших еле вмещала нас.

Через два месяца невестка моя Нина поступила в артель. А когда пожары леса и торфа были побеждены, настала другая беда: плоды засухи — мало картошки и мелкая; с восьми соток собрали вместо роскоши прошлого года половину — по два мешка с сотки! Пришлось покупать: семья! Но куда на семью такое мелкое подполье? Туда ведь и кочаны капусты подвешивать надо! И подкопали мы на какие-нибудь полтора-два вершка вглубь. Радовались: все побольше картошки войдет... А наутро открыла западню — проветрить, а там — блеск темный! Напасть страшная... Тронули жилу, вошла вода!.. И годы с тех пор весна, осень — мука: весной вынимать перед половодьем картошку и ее раскладывать под топчан в избе, шагая по узкой тропинке; осенью — сушить подполье, открыв люк (того гляди свалишься в тесной избушке в подполье, как упала раз у соседей, приняв по близорукости черноту раскрытой западни за коврик).

А какое отдохновение бывало прийти на берег в Тонин домик, к ней и Капе! Когда-то красивые обе, семейно схожие, приветливые, гостеприимные. Капе было под семьдесят. Тоне под шестьдесят. В двух крошечных комнатах — в углу лампадка — все горит чистотой. На стол несут все, что есть, — каждому заходящему. Обе мастерицы

готовить, хоть Тоня и изнемогает от труда дня (после кирпичного завода она работает в пимокатном цеху, в шерстобитке). Начинались беседы, воспоминания, стихи (Марининых я наизусть знала много)...

Года общения сделали нас родными виденных родных друг друга. Каждое письмо читалось и переживалось вместе. Зимой домик тонул в сугробах, был еле виден, и еле дойдешь до него. Летом это были заросли хмеля, распахнутые в них окошки, цветники, ягодник, огород. И все это на обрыве, над светлейшим обрывом речки, отражавшей купы деревьев противоположного берега. Первые звезды... И конечно, кошачье тепло у ног, мурлыкающее. Незабвенный мне домик! Капа, как истая русская женщина, бросила свой домик в Ташкенте и приехала жить к сестре в Сибирь, где она постоянно болела сердцем, не привыкшая к таким холодам. Перемогается!

Узнав, что невестка с детьми ко мне доехала, сын за меня и за нее успокоился, он стал слать нам посылки — то небольшое, что мог по тому времени. Внук деятельно помогал нам в нашем сельском хозяйстве. Он уже был ростом почти с мать. Но еще было в лице его милое ребячье, и он еще играл с Ритой.

Осенью Нина перебирается на далекую от меня квартиру, возле своей работы. Плачем, прощаясь, Рита и я... И до весны, пока Риту не приняли в детский сад, я хожу ежедневно к ней через село, километра три в два конца. Трудно — но надо!

Пришлось покупать задорого картошку, и не удалось и в эту зиму оконные и дверные щиты. Я слегла с тяжелым плевритом — в самые бурные дни. Гена прийти топить печь не мог: не на кого бросить сестру. Невестка после работы топит печь, кормит ребят, а там — ночь... Урывалась ко мне раз в несколько дней. Я выдерживаю характер: другие по два и по три раза во вьюгу — я раз топлю! Зимой просыпалась иногда при — 3°, руки еле держат лучину и спичку... Кашель мешал спать. И все-таки я поправилась!

Тяжелые мне дни, когда приходили от моего сына посылки... Я знала, какой ценой он их собирал! В это время в лагерях ввели оплату труда, и на премвознаграждение заключенные могли покупать себе добавочное питание — сыр, колбасу, сдобу. Это у себя отнимая, сын слал детям сахар, компоты, сухофрукты — их не было в наших краях.

Память об отце, с которым Рита рассталась трех с половиной лет, растила любовь почти фантастическую: конфеты, шоколадки, которые он приносил, всегда падали откуда-то *сверху*, а летом — с дерева, я узнавала Андрея — всегда с затеей... Из кусков фланели, выдаваемой на Севере на портянки, Нина шила дочери платяца.

Рита отдаривала отца рисунками и, с четырех лет, печатными буквами, а с пяти — «письмами» с наизнанку вывернутыми «я» и «в».

Но что случилось с ней, когда в ответ ей пришло, на ее имя, письмо, первое в жизни! Это были стихи «Моей Маргаритке», и назывались они «Алые паруса». А к ним — фотография с отцовского рисунка, ей посвященного, — «Танцующий слоненок!». Это была настоящая гравюра: тончайшее очертание сказочной бухты, где в одиночестве веселился маленький слон: хобот, хвост, столбы-ноги слонячьи — веселился каждый фибр! А в светлой дали — воздушные легкие паруса Грея, алые паруса.

ГЛАВА 17. ГРЕХ

Как время летит!

Зима. Буран. Немного хвораю. Снег, укутавшись, наносила, — значит, вода есть,

все сварено, убрано, обе двери — сеней и дома — заперты, скоро сумерки. Поставлю на окна щиты — басовские, и буран сибирский станет не больше как сон...

Стук в дверь. Ох, какая беда, — кто еще там? Открывать опять обе двери, тугие, тянуть их во всю мочь, борясь с ветром, дышать вьюгой!

Устало:

— Кто там?

Детский голосок:

— Мы. Я

— Кто «я»? — раздражаясь на частый и у взрослых этот ответ.

— Мы.

— Да кто «мы»? — одеваясь и уже поучая привычно ребят: — Ведь все говорят «мы», «я», — имя-то свое разве не...

— Мы, мы-ы... Надя (и еще только начатое «Ли...»).

Мое решение — радость улитки, которой удалось из раковины не вылезать — намаялась, лягу, уложив за печку дрова.

— Очень тяжело, деточка, мне отворять двери, болею...

Ничего не слышно за дверью, вернее, мне за бураном и дверями не слышно — буран-то слышит их голоса... Да оно мне и не нужно, я отошла от двери. Дети как повадятся ходить в эти часы, когда лечь можно... Да и дать мне им сейчас нечего — все внучке вчера снесла, нет ничего, а они ведь надеются на конфетку...

Что-то поворачивает лицо к западному, к калитке, окну. В уровень с его серединой (до половины завалено снегом): по крутому насту мутно видны — в оттаявшем с ненаветренной стороны куске стекла — маленькие фигурки в огромных валенках, материнских бушлатах. Стараются не оборваться с гребня, с наста снега — в окно. Жар этих стараний сквозь муть окна, жалобность великаньих валенок на пятилетних ногах, взмах рукавиц отцовских, — «мы»... Смуген гул голосов. (Сердце вдруг: что говорящих?) Прогнали. Их стерло с окна — как той рукавицей.

Одна! Как хотела. И тогда с неумолимой верностью крючка, опускающегося в петлю, наливается на мою избушку в снегах — тоска.

Как могла я не знать, что она придет, и станет за спиной, и ляжет на плечи, и ей, как всему настоящему, из вечности в вечность идущему — не будет конца?

Как кротко они уходили, радуясь, быть может, тому, что не оборвались в снежную оконную яму...

Я не открыла им дверь потому, что хотела лежать и читать. Одеваться и раздеваться, студиться, тратить даром так дорогое время, не иметь чем угостить девочек, падких на сладкое... Как оправданно, как дальновидно о себе — и хоть бы шагок дальше — туда, где — они («мы»...).

Я не открыла им еще потому, что они мне не нужны сейчас, эти девочки, — но я ведь зачем-то нужна была им, раз шли ко мне? Скажи они, что их мать прислала (за крынкой, за ситом), — я бы открыла. Но они шли не за крынкой, а за чем-то своим, неназванным, и я позволила себе отвести их рукой. Шли назад, через вьюгу назад, — не удалось к бабушке! Это их, в пять лет, напрасное карабканье по сугробам... В самый радостный будущий день — догоревших разлук, на празднике встречи — оно положит на плечо ледяную, умелую руку — и поведет за собой.

Может быть, они просто озябли — к бабушке! погреться! Не хотелось домой, в дверь не своей хаты открывался мир, научила (учительница!) тому, что такое чужая изба!

Тому, что отвечать «мы», «я» — нелепо, что есть — имена. Они тотчас поняли, закричали охотно:

— Надя! Ли-да! Мы! На-дя... — Перекричать вьюгу. Если это надо, чтобы дверь открыли! Но и имена не помогают, если за дверью — «я».

А ведь были дни моей шестинедельной плевритной болезни, когда никто не шел, тяжело бурило, двое суток меня заносило, и я не могла выйти, пока Сергей Тихонович не откопал мою дверь. Но побыл и ушел, и я снова болела одна, кашель набил грудь кучею разбитых стекол, и я не могла позвать — далеко, с конца улицы — Лену, приходившую иногда поставить мне банки (стаканами). Вот тогда я *пустила* Надю!.. Жизнь прислала мне ее через бушевавший буран, укутанную по глаза. Я еле поверила, что ко мне стучат! В такую погоду! Кто пробрался через такие сугробы?

Эти глаза, светло-серые, лукаво смеялись:

— Бабушка, вы б поглядели, что на дворе! Сносит!.. А у нас все заболели, мама за градусником послала...

И пока я, на прощанье с градусником, мерила свой жар, Надя пробилась с моей запиской к соседу Павлу Петровичу, и тот обещал поколоть дров и про меня сказать, если к ним зайдет, Лене. Дров наколот, но Лена к нему не зашла, а от кашля било в голову как молотками — и тогда судьба прислала Лиду. И она, маленькая, зажав в руке конфету и записку к Лене Доброй, исчезла во вьюге.

«Пойдет домой, и все?» — грустно думала я вслед. Но вскоре ко мне постучали — и вошла Лена, румяная, веселая, шумная.

— Чья это девочка ко мне от вас приходила? Как она добралась?! Вот дети сибирские, их и вьюга не берет!

И с Леной вошла жизнь, бездна рассказов (о прошлом), помощь и обещание здоровья.

Лида, пятилетняя дикарочка, не обманула моих ожиданий, а я сегодня — *ее* ожидания...

Взрослый был бы вправе обидеться, не пусти я его, и я бы его, вздохнув, пустила. Дети, по-видимому, этим правом не обладают. Какой мне позор!

Лиде сейчас, как и Наде, шестой год. Полтора года назад она мчалась с отцом на телеге навстречу мне — я шла и несла от друзей три пиона, лелея мечту, поставив их в воду, ими украсить самодельный стол. «Дай светик!» — только и успела крикнуть Лида, тяня жадно ко мне обе лапки, черные ее глаза на круглом личике горели улыбкой... Как была бы я теперь счастлива, перелети тогда из моей руки в ее ручки хотя бы один из пионов! С этим было бы веселей умирать! Но я, та я, которая мне все портит и которой рабски служу, качнув головой, отвечала, как старшая: «Нельзя, деточка...». И телега умчалась, а с ней те пустые, не получившие ручки, тот ликующий восхитившийся младенческий — поруганный взгляд. (Судьба наказала; я *уронила* «светики» и не заметила...).

За горячие озорные глаза, черно-черные, и за то, что у всех все просила, Лиду прозвали «попрошайка», «цыганка». Но время летит, пролетает, как та телега, — Лида подросла, похудела, стихла, бархат ее «анютиных глазок» — печальней; она войдет, станет, глядит и стесняется. Она знает, что люди не любят, когда у них просят, она ждет, она плохо одета, нет у нее ничего своего, носит то сестринское, то материнское.

Как могла я это сделать сегодня, когда я уже годы мучусь о том, что я сделала очень давно, когда-то, в незапамятной молодости, в непоправимый день... Я тоже тогда

сказала ребенку: «Ты мне не нужен — иди назад в хаос...». Тот был еще меньше, совсем без сил со мной спорить (назвать себя даже — «я»). И легко, уверенная в своем праве, я отняла у него жизнь, в которую он стучался. Какой невероятный позор самочинства! Я не отворила ему дверь в свой молодой дом — сыну, дочери; не дала детству погреться у моего очага, со мною. «Мне, деточка, трудно впустить тебя...» В зажженную елку, в кусты сирени, в звездное небо, в потонувший в луне сад. Для удобства тех лет я выкинула за борт его душу и тело — без возможности постучаться в двери жизни вторично. Я не открыла ребенку дверь в его дом. Единственную, в которую ему было дано постучаться! Что помогло мне справиться с немислимостью этого преступления, стряхнуть его с себя, и жить дальше десятилетия, и радоваться всему тому, что я отняла у моего ребенка, чего моя мать не отняла у меня. То узаконенное равнодушие взрослых, как я, привычка к этому, повторяемому людьми, преступлению? Оправдание его, звучавшее так «праведно», как может преподать только один сатана, — что будет даже для блага этого не пущенного в мир ребенка и нужно было, чтоб не страдал он от стесненных «условий жизни» или «трудной эпохи», — отнять у него саму жизнь!

Но кому я скажу все же, что сейчас плачу, оттого что Надя и Лида ушли?

И вот, как те три пиона, в которых я отказала ребенку (уроненные в ветре, не видела как), так отдых, ради которого я не открыла двум девочкам, — далек от моих глаз.

Ночь. Буран, видно, стихает... Село спит. Завтра рано постучится соседка, обещала утром молока. Мой домик, хотевший покоя, не замечает затихшей природы, он плывет по волнам тоски.

«Анютины глазки»... Я еще встречу их в Вечности Памяти, как и — те... Ничего возвратить нельзя! Но мы имеем свободу воли и потому — Правосудие. О, как хорошо, что — Есть!

И не потому ли я одна — уж который год, в одиночестве, в сугробах и зелени, не потому ли мой дом — мертв, что когда-то, когда ее во мне было так много, — я отняла у существа — жизнь...

ГЛАВА 18. РИТА. НАЧАЛО МОЕЙ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Рита с четырех лет ходила в детсад, и было там для нее наслаждение жизнью. Она верховодила, выдумывала всевозможные шалости и была в большом фаворе у воспитательницы Тамары Ивановны, веселой, хорошенькой, очень еще молодой. Они не чаяли друг в друге души. Все озорства Риты прощались, должно быть называемые «инициативностью». Однажды Рита научила подружек и друзей бегать вокруг стоявшего на тумбочке самовара, это, может быть, был некий индийский танец? Самовар свалился, был изуродован, помят (хорошо еще, что он, будучи «украшением», был холодный!). Но и это не поставили Рите серьезно в вину, хотя и отдали самовар в починку. Буйная душа в маленьком теле! Но и уют Рита любила. Якова Ивановича звала Кот Котович. Как забыть первую «лотерею», устроенную мной пришедшим в гости Нине с детьми, в которой мы разыграли присланную елочную посылку? Сколько смеху, сколько радости, сколько пользы... Обувь, платья, куклы, игрушечная посуда, книги — все напоминало Диккенсовы торжества... Елки наши сибирские! В такой день я иногда, если елка была у моих, у них ночевала на тюфяке возле Нининой с Ритой кровати — для иллюзии «семьи», чтоб не идти далеко домой, в полдня не топлennую избу. Да, «всюду жизнь», как в знаменитой картине Ярошенко...

Когда я начала рассказывать Рите мое детство? Лет с пяти? Трудно вспомнить. Но рассказ родился и рос органично, обратный тому, когда я выдумывала сказки. Тут все было «документально», правдиво, я воскрешала бывшее с почти педантичной точностью, это был труд. Он всегда происходил на ходу, по пути из села или назад в село, я умолкала на полуфразе (если шла назад в их квартиру). В следующий раз кто-нибудь из нас спрашивал: «Где мы остановились?» Это был пароль. И мое детство продолжало развертываться, повторяться — год за годом, зима за осенью и весна после зимы, все дома, все города, все страны, все подруги, все друзья. Узнавала ли все это Рита, когда, более десятилетия спустя, она получила в подарок мою книгу «Воспоминания» (1971)? Сдержанная в каком-то разряде чувств, она мне не сказала об этом. Но рассказ мой она приняла, в пять, шесть, семь лет им прониклась. Село же наше она до сих пор вспоминает с щемящей тоской, с нежностью.

Несомненно, я тащила «за уши» Ритину душу, рождала ее еще младенчество в понимание недетских вещей. Была ли я не права? Я не знаю. Так, может быть, она из детской шагнула в романтику — как Марина и я в нашем детстве. Мы не пожалели об этом.

Так устно создавалась моя будущая книга «Воспоминания». «На чем мы остановились?» Она подсказывала. Рассказ шел дальше. Я сделала ей гамак и качала ее в углу подсолнечного поля. Золотые маленькие солнца плавилась на солнце большом.

Приехавшая к соседу-плотнику жена хлопотала у давно построенного дома возле колодца (через плетень от меня, около которого я перед приездом Риты нагородила гору бревен, таща их за один конец и нагромождая к колодцу, чтоб преградить путь ребенку. Теперь уж не свалится: на два с половиной года прибавилось ума!

Она уже понимала, что нельзя спросить у жены моего соседа, тети Маруси, почему у нее на каждой руке всего по одному пальцу, большому, и как она костяшками отсутствующих восьми пальцев так хорошо стирает белье, печет лепешки. Она уже умела жалеть, уважать — не по-детски.

Но не раскрыла ли я насильственно душу Риты этим введением ее в наше с Мариной детство? Моими сложными сказками, символикой и героикой их? Суровым внедрением чувства долга, держания данного слова... Не было ли это раскрытием — руками — цветка? Ее семилетняя фотография являет полураздраженное, полускорбное личико. Она уже отлично говорила по-английски, начинала читать книги. Слишком много я требовала от нее? Но ведь у души нет возраста, и если она понимала, о чем шла речь... Я так много в нее вкладывала, ей внушала... С пяти до семи лет она шла в наши походы ко мне с ночевкой, туда и назад через село на выселки, прожила со мной все наше с Мариной детство, весь почти мой будущий 1-й том «Воспоминаний» — столько переездов, стран, дружб, разлук... Она все понимала, все чувствовала — но как часто она изменяла мне, уклонялась, рвалась к безответственности грубых уличных игр со случайными девчонками на их улице! Я оскорблялась. За ее душу. Преследовала ее за лень, за ложь... Сколько боли было в моих отношениях с ней — но и сколько жесткости моей, усталости, раздраженности... Нет, я не была на высоте, она не была со мной счастлива!.. И как заливалась она младенческим смехом от шуток с ней старушки Ольги Семеновны, просто любившей детей... И все-таки меня Рита любила! Ее двойственная душа ко мне тянулась. И я каялась в моей жестокости, в несправедливости... Как я радуюсь, когда уже взрослой Рита вспоминает Пихтовку, домик на Куйбышева...

В личике Риты, имевшей сходство с ее теткой Алей, Ариадной Сергеевной Эфрон,

дочерью моей сестры Марины Цветаевой, выражения были другие. В больших, с тяжелыми веками, серых глазах, походивших на глаза ее отца формой и цветом, порой таилось сходство не с ним и не с Алей, а — по отчужденности взгляда — с моей сестрой Мариной. Недаром десятилетия спустя, когда Рита выросла, я, стараясь удержать прерванный пробуждением сон, часто не знала твердо, кто мне приснился, Рита или Марина, в туманности несомненно родственного облика, в том уплывании — в себя, прочь от узнанности, свойственном им обеим... И в яви я помню один Ритин поступок, могший принадлежать детству Марины. Летом 1952 года — Рите шел пятый год — детские руки открыли дверь моего домика — и на пороге встала моя внучка.

— Ритонька, ты с мамой? Нет, мама твоя на работе, ты — с Гелей? — спросила я удивленно.

— Я одна, — сказала Рита так просто, точно не в первый раз прошла одна не менее полутора верст — своей, потом главной улицей, через длинный мост, высоко над рекой Баксой, и, свернув, пустырем к нашим выселкам.

— Одна? Как же мама тебя отпустила?! Почему не с Гелей? Что-то случилось?!

— Не случилось, мама не видела, я просто пошла и пришла. Ни собак, ни...

— И не боялась одна? Через мост — и как дорогу запомнила?!

Широкие ее глаза глядели мечтательно, отрешенно. Она уже не отвечала мне. Но она сердилась:

— Я думала, ты обрадуешься...

— Я испугалась! Как ты одна — так далеко... Ты, Рита, герой!.. Но мама тебя ищет... Она же не знает, где ты... Ты так больше не делай! Ты понимаешь? — Я искала нужные для нее сейчас слова. — Мы должны сейчас идти ее успокоить...

Рита отсутствовала. В ее лице было выполненное решение, волнение пройденного пути. В ней не умещались ни я, ни мать.

...Как часто не умещались в детстве Марины обращенные к ней слова!

Так вот отсутствовала — Марина...

Снова весна! Третья в Сибири! Опять я стою на широкой дороге перед своим домиком, нюхаю, как пес, воздух, прохладный еще и уже теплый, он пахнет землей, просыхающей от снега, земля готовится к посевам, к посадкам, она опоминается, как мы от бесконечной зимы. Плетни, еще кое-где запорошенные снегом, высыхают и пахнут — так чудно. И как пахнет земля! Как тихо... Тихо через ребячьи голоса, мычанье стада, бродящего по-за огородами, через собачий лай, — из всего этого и состоит тишина сельская, поглощающая звук жизни, преображающая. Год прошел! Когда он успел? И — долгий какой год!..

Разве забыть зимние и весенние праздничные дни на кладбище, окруженном кедрами, черную фигурку худенькую — Ольги Семеновны? Всегда дети вокруг нее. Старая, а молодой голос, хорошо поет! Моя Рита так ее полюбила, затейницу! Даже когда где что не так — остановит, а сама улыбается! А ласковая... Нет, не научиться мне этой терпеливой радости! Совсем другая! И Рита ее любит даже с какой-то страстью! И все дети так — ее... Меня — нет, и рассказы мои — другие, я ими тащу Риту — вверх! Чтоб не шесть ей, а — восемь... А Ольга Семеновна с Ритой сама как ребенок, ей пять, шесть, семь — все равно, веселое детство, она в него погружается, а я все — чтоб умнела, — это все же, наверное, глупо? Ко мне Рита в четыре, в пять неохотно ходила. Веселей, бесконтрольней ей без английского языка, с озорной девчонкой соседской во дворе... Почему мне больно смотреть на нее в таком окружении? Все хочу, чтоб она понимала,

думала, чувствовала, запоминала. И Рите интересно со мной, но, может быть, и — томительно?..

Ритины подруги Надя и Лида враждуют. Редко играют вместе. Надя — старше, разумнее, воспитанней. Уже в четыре года одна, как большая, приходила через широкую сибирскую улицу ко мне в гости.

Однажды, когда я в сумерки в первый год заблудилась, она вывела меня к моему домику. Надя опрятная, беленькая, лукавоглазая. Умеет дразнить (Лиду); меня — занимать беседою. Умеет выдумывать. Рассказывая, она разводит руками, как актриса, и делает страшные глаза. Она дружит с Ритой. И блеск маленькой любительской фотографии вобрал в свое зеркало заросль хмеля по стене дома у моего входа в сени и под узким восточным окошком — их «детуголок» — столик, игрушки и два детских личика, сияющие на солнце...

А внук Гена шишкует с ребятами. Как белка, таскает кедровые орехи — грызем: еда!

Живя у леса, он натаскивал матери целый угол орехов, а в голодноватые недели перед урожаем Нина с Ритой носили в фартуках и в тряпках груды шампиньонов, росших на пустыре, варили шампиньонную кашу. Ими кормили они и поросят...

Спешно после работы Нина везет воз обрезков горбыля с лесопилки — ей дали коня в артели, она там первая из работниц, — спешно доделывает Басов нам крышу, в первую зиму только на две трети покрытую... И уже не чужие мальчишки, а свой внук, хмурясь и покрякивая баском на сестру, чтоб не мешалась, кидает и кидает лопатой — делает завалинку вокруг стен избы. А у восточной, где вход в сени, над их дверью — вила курорта: по стене вьется воздушная кудрявая гущина зеленого хмеля... Из тех двух корней, с девочкой в лесу выкопанных (она научила)! Как сладко, роскошно учиться простой, дикой человеческой жизни, мимо которой жил в молодости в городах — всю зрелость! Старость распахнула объятья познанию земли, которая до сих пор только романтически замечалась. Хотя и трудилась в разруху до поту, а голодать задолго до этого своего гнезда научилась. Теперь и голодать и отъедаться научилась — иначе: теперь в обнимку с землей! А весной мне пришлось покупать задорого картошку, и не удалось и в эту зиму оконные и дверные щиты.

Радостный день, когда мне воздвигали на длинной жерди скворечник! Теперь моя изба «как у всех!» И весной прилетели грачи, поселились, вывели и учили летать птенцов. Сказка! Через год как волновалась я, прилетят ли они снова и — это уж со всеми ребятами улицы — прилетят ли вновь те же грачи в наши скворечники? Щемило сердце: в мой скворечник уж вселились воробьи — выгонят их грачи, бедняжек.. Но грачи выгнали их — без раздумья! А Вовка кричал громче и грачей, и воробьев: «Бабушка, ваши грачи! Я помню, у того черного-черного нога косяя... Он! Он!..»

А с теплом пришли еще две радости: из дощечек, снятых во вторую зиму с крыши, где не было теса (для дощечек этих я полный день разламывала и корежила ящики, притащенные из села), Басов (умолила — был занят, копал людям колодцы — восьмой ему шел десяток!) сделал мне палисадничек перед окном, южным, и я там посадила цветы. Сколько было войны с курами! Сколько счастья, когда расцвели цветы... И еще: у меня настоящая лестница! Приставная! Своя. (Всю округу избегала, вымаливая продать по дощечке, по жердочке.) Больше не таскаю чужих лестниц, еле дыша. Ягоды смогу сушить

на крыше! Палочки прибиты от края крыши к трубе — вроде трапа, чтобы по ним шагать, ползти, когда будешь чистить трубу. Я не знала, что можно избушку любить, как живое существо... Может быть, я никогда не захочу выехать из нее? Ну что ж, и хорошо.

ГЛАВА 19. РИТИНА БОЛЕЗНЬ. РИТА И ОЛЬГА СЕМЕНОВНА

...Было утро, когда после благополучно закончившейся в больнице Ритиной болезни я пришла посидеть с ней еще этот денек, на завтра детврач выписал ее в детсадик. Был последний холодный предвесенний день, с ветром, хлещущим изморосью, когда мне, еще на пороге, сказала соседка, что мать уже сегодня увела девочку в детсад. А я шла! И такая погода...

— А мать шаль ей надела?

— Шаль? Нет, шали будто на ней не было... Шапка-ушанка...

— Ох, не простудилась бы...

«Может, снести ей в сад шаль? — подумала я, но тут же: — Не надо так во все вмешиваться... Ведь мать одевала ее...» Шел диалог: «Но мать молодая... Корь — коварная вещь...» — «Уж и так мать обижается, что я...» Я не понесла шаль. И как потом каялась!.. Ошибка была — моя!.. Когда надо было действовать, я рассуждала!

Смирив тревогу за Риту, я возвращалась к себе.

...В тот же вечер (я пришла второй раз) Рита сказала:

— У меня ушко болит...

А через два часа она громко плакала, а еще через несколько срочно вызванный доктор Райт, в свое ночное дежурство придя на дом, осмотрев ребенка, сказал:

— Воспаление среднего уха... Если нарыв прорвется наружу — справимся! Ну а если внутрь, — он развел руками, — сами понимаете... — И велел утром нести Риту в больницу.

Температура была сорок. Рите было четыре года.

Я осталась ночевать у Нины. Рано утром мать понесла ребенка в больницу.

Что будет? Что я отцу напишу?

Вовек не забыть следующего утра, когда, пройдя пустырями, селом, лесом, я подходила к больнице. Издалека доносился смутный — что это, крик? Женский. Он рос. Все яснее: плач, почти вой... Все во мне замерло. Кроме шага. Запинаясь о корни, сойдя с дороги, напрямик... Нина? Далеко. Не узнать. Вой рос.

Кто-то по дороге шел навстречу.

— Что это? — крикнула я, перекричать гушу ветвей, бросаясь в сторону шедшего.

Это была женщина.

— Мать, — сказала она, — умер ребенок...

— Девочка? — спросила я, казалось, одними губами.

Но она услышала.

— Мальчик! — сказала она.

...Не заглаживать вину перед ним, перед воем.

За радость во мне в тот миг.

* * *

К старушке моей, у кладбищенского леса живущей в уютной крошечной хатке (чуть больше домика «кошкиной мамы»), доброй простой Ольге Семеновне Рита в первый

же наш поход к ней привязалась с какой-то страстью. Если бы по природе была ревнива, мне бы пришлось бороться в себе это чувство. Сколько я отдавала сил и стараний на воспитание и обучение внучки, а эта «чужая» старушка без всяких усилий обрела Ритино сердце! Одной ласковостью многоопытной своей души, одной любовью! Она ничего от ребенка не требовала, только давала. Куда было мне, с моей резкостью, усталостью, раздражением, со сложностью подхода к детству и задачам его, тягаться с этой простой душой...

ГЛАВА 19. МИША И ФЕЯ. ПЕЧЬ

С гибели песика моего Домки от собачьей чумы я жила без животных. Однажды девочки, крича и волнуясь, принесли мне большого кота, тигрового покалеченного собаками. И я взяла беднягу. Двенадцать дней он не ел, только пил, а в воде я растворяла ему гомеопатические лекарства; лежал, закрыв глаза. Думала, не выживет. Но с помощью арники, силицеи (от ран, воспаления), лахезиса (от гноя) он встал и медленно, качаясь, вышел на солнце.

Я перебирала в избе овощи и пошла посмотреть, *как* он; я нашла его в другой части огорода; он лежал на глине, на солнце, у колодезной ямы и сладко спал. С этого дня он стал есть, мурлыкать, ходить, прыгая на трех лапах. Имени у него не было. Ветеринар, осмотрев сломанный плечевой сустав кота, присудил ему век скакать на трех ногах. Кот в союзе с гомеопатией не послушался и вскоре стал слегка наступать на четвертую.

— Да это наш Мишка! — сказал, увидев его, мальчик с другой улицы. — Его собаки угнали!

— Ваш? — грустно сказала я.

Мальчик понял.

— Он нам не нужен, бабушка, у нас кошка! Вы его, бабушка, возьмите...

И зажили мы с Мишкой, все больше любя друг друга.

Кот был очень умен, глядел в глаза желто-зеленоватыми очами, как человек, и делал ночью вид, что покорился — лежать в ногах. Затем, решив, что я сплю, тихо-тихо (и бесшумно, и медленно) полз вдоль стены, чтобы мне лечь на живот. Видимо, он понимал, что весом своим — разбудит, и процедура укладыванья на меня, как на подушку (хоть и был мой живот худ, но все же — живот, не нога!), занимала у кота много осторожности и времени: он пытался стать невесомым...

Фея — дымчатая кошка, приходившая ко мне уж давно от своих хозяев, живущих домом, полным детей, скота и еды, здесь уж который год, — Фея сперва не признала Мишку, шипела и выла по-ведьминому. Затем смирилась и спала иногда поперек Мишки — тонким серым ковриком через его темное тигровое великолепие.

Так прошло лето. Они ныряли по густой зелени грядок, скакали — кто выше, и исчезали в соседнем огороде, где царил пестрый кот Жулик.

Помню лунную ночь. Я вышла на нечеловеческие но и не на кошачьи! — крики, мешавшие спать, и у лесенки на сеновал стала, при голубом блеске лучей (каждый раз вновь, точно в первый, поражающей сказочностью) луны. Мишка, сидя на одной из средних перекладин лесенки, орал отвратительным голосом, глядя вверх. А с верхней перекладки на него, изогнувшись и прижав уши, став скорее моржом, смотрел Жулик, выражая мордой предельное негодование. В тощих деревьях, привезенных себе из лесу соседом, в воспоминание о родине, заливался — это была гордость соседа, звал слушать

— самый настоящий соловей.

Лена Добрая, хозяйка — не мне чета, в Молдавии правившая большим каменным домом, хвалила меня, любовалась плодами моего трудолюбия (все летние ночи я стерегла наш с Ниной огород до свету, так как скот и спал и пасся на свободе и мог войти). Однажды я шла по огороду и всем, что попадало под руку, — палки, комья земли, веревочки, — укрепляла плетень, смотря, где может пролезть гусь или курица. Вдруг вижу: по тот бок плетня (я давно заметила, что что-то мелькает белое) ходит курица и с той же бдительностью, как я, неутомимо обходя огород снаружи, заглядывает во всякую дырочку, где ей можно пролезть. Билась я и с птицами, — повышая плетень от домашних соседских, я оплатила два воза тальника и, засунув зеленые, шумные (а потом шелестящие сухостью) прутья в верхние слои плетня огорода, получила ветром гремящий лесок, воробьев пугавший — чтоб не норовили поесть весь горох! Как хотелось деревьев! Но их не было ни одного на бывшем болоте. Пыталась выкопать и посадить ветлы, полить раз-два — нет, увяли! Тогда я стала разводить коноплю и кукурузу — за высоту. И пол-лета и осень у меня были «деревья» — нежные, гнущиеся рощи, дававшие кружевную тень. «Я в России», — думалось мне.

Однажды летом Яков Иванович удивил меня и (по закону зеркальности — неблагоприятный это закон!) вызвал во мне — протест. Помогая мне где-то возле дома, где понадобились грабли, я указала ему место, где надо было их положить. К моему удивлению, он воспротивился, поясняя, что и там, куда он положил их, им, им — место. Тон его возмутил меня. Я вскипела:

— Будьте добры, Яков Иванович, положите туда, где я сказала!

Он возразил. Тогда я, теряя в этом вздоре терпение, часто не изменявшее мне в серьезных вещах, позволила себе недопустимым тоном крикнуть:

— Я прошу вас положить их на их место! Я решаю, где им быть!

Не забуду, как в его ответном удивлении — пожал ли он плечами? — согнув их в сразу ставшей старческой позе, он пошел выполнять мое требование. Бормотал ли он что-то в свои длинные седые усы? Как могла я себе — с ним! позволить такое?! Где было мое «Feintühlung»?

А потом пришла осень. Убранный в подполье урожай обещал сытую зиму. Но коты смотрят на овощи с сомнением: еда? И как я ни убеждала Мишку — примером! — он глядел на картошку задумчиво, предпочитал хлеб.

А хлеба было так мало... Признавал и сухари. Грыз — с увлечением. А от супа, забеленного молоком, часто отходил, недоев. Зато только я, со вздохом, брала крынку и наклоняла ее двухдневное содержимое над кружкой (кружка, знал он, сейчас наклонится над его черепком), как оживал кот! Точно он учился быть котом у самого Москвина в его роли Кота в метерлинковской «Синей птице»: он прыгал — шел на задних лапах, складывал передние, ловя что-то в воздухе, кружился вокруг собственного, змеей извивавшегося хвоста и мяукал совершенно как Москвин!

Он понимал и слова. Не делая шага к крынке, я говорила: «Мише, Мише молочка...» — и он просыпался из самого сладкого тигрового сна, бежал к черепку и ждал. И еще многое он понимал и умел, чем всегда заново поражал и меня и Риту в ее у меня субботы и воскресенья — у них была упоенная дружба! Будь здесь Дуров, он бы похитил у меня Мишку — так явно он превышал умом и талантами обычные котовые мерки!

Давно сказано, что, чем глупее выдумываемое слово ласки (домашние словечки,

клички), тем оно нежней. Мишка знал все свои «глупые» имена. И может быть, как и мне, слаще всего ему было слово «Мех-Мех», извращенное из Мих-Мих (Михаил). На этом нелепом имени мы с ним уносились из избы, из Сибири — в сибирскую сказку — не к самой ли Бабе Яге?!

Уже давно стало ясно, что печь моя — не бедняцкая! Пожирает слишком много дров. Сосед пожалел, согласился переложить. Шли холода, и, как два года назад, он (как и тогда клал печь) пришел перекладывать ее — в самый последний срок.

Когда избушка моя наполнилась кучами кирпича, Мишка скрылся. Коты беспорядка не любят. На тигровой морде его, мелькнувшей у двери, было выражено отвращение к творящемуся. Тщетно я кис-кисала его — исчез. Назавтра я ждала печника и накануне заказала старику Басову (он был и жестянщик) духовку: будем с Михой печь... пироги!

Наставал вечер. В условленный час я должна была прийти за ней. «Знай наших!» — потрескивала будущая печь. Путь к Басову шел пустырем, затем через дорогу и — до начала села — улицей, далекий. Взошла на крыльцо, стучу. Шмыг у ног что-то: кот, темный, мурлычет! Нагибаюсь погладить — вот чудно! У Басова тоже кот на трех лапах, вот гады собаки что делают!..

— Да у тебя, Василий Иванович, не меньше кот, чем мой Мишка! — сказала я, восхищенная величиною и ласковостью кота, входя из темных сеней в избу.

— Ко-от? — удивился, раскрывая дверь. Басов. — У нас кошонка махонькая... Да это ж твой кот, своего не узнала!

— *Мой?* Ну и дела! — смеялась я, схватив Мишку в охапку. — Значит, за мной шел, как пес.

— Он, должно, решил, хозяйка переселяется, и пошел за тобой, на новое на житье...

— Ты гляди, гляди, с котом бабушка-то пришла! — удивилась хозяйка квартирная Ольга. — Ты что ж, как с собакой, с им ходишь?

Как смеялись все, как умилялась я. «Голубчик! — гладила я Мех-Меха. — Думал, я, как он, ушла из избы, заваленной кирпичами, и пошел со мной бродить по свету на трех лапах...» (На четвертую наступал только при тихой ходьбе.)

— А как сложат тебе печь — от нее кота и не выгонишь... — уютно, как кот, приговаривал Басов, вручая мне законченную духовку. — Таперича на пирог приду!..

Расплатилась, благодарила растроганно; не обманул, в срок сделал, завтра придет печник!..

Ночь — хоть глаз выколи! Где-то лают собаки... Ну как учуют кота? Посадить в духовку? Заорет, забьется... Того хуже! И побрели мы с Мишкой в покинутую избу, до которой, на мне сидючи, дошел со мной, но никакие ласки и ухищренья не убедили его что в такой избе ночевать — можно. Только что по черной ночи верный спутник, не дал себя убедить. Когда, силой внеся (на улице подмораживало), пустила его на пол меж кирпичей — предупреждающе зарычал, угрозой переводя звук в завыванье. Нет, под такое не заснешь!

И выпустила я Мех-Меха... Дня три уж ходили мы с ним по горам разобранной печки прежней, с трепетом ожидая прихода соседа. Теперь, должно быть застыв, Мех-Мех грел меня своим мехом — бесцеремонно, знал, что не прогоню!

Перекладка печи — дело, может быть, еще более сложное, чем в первый раз; поломка кирпичей, докупанье их, страх, что не хватит... О, когда мы наконец ее затопили — с духовкой, высоким подом, когда через десять минут закипела вода — какой это был

праздник!

Пришла зима. Бураны, морозы — враги избушки, затерянной в снегах... Лишний раз открыть дверь и вторую сенную — значит, не уснуть, может быть. Найдет в плохо топлённую каморку холод... Мишку я выпускать стала редко, когда выходил заодно со мной. Ящик стоял ему в уголке — и тут началось горе: возненавидел Миха ящик лютой враждой. На свежую золу было — из любопытства — вошел, обнюхал ее в первый раз и — как в пух лег в нее: думал, постель! Но когда я его согнала и, скребя золу его задними лапами, стала внушать ему ящико́во назначение, Мишка зарычал, прынул от меня и надолго спрятался между дровами. И больно мне помнить — теперь, когда давно канула в Лету наша с Мишкой одинокая сибирская жизнь, — как глупо и жестоко — по-человечески поступала я с Мех-Мехом, насильно вгоняя в него свой здравый смысл, пренебрегая котиным, которому принесение этого гадкого ящика, видимо, представлялось барской блажью, ему, вольному сибирскому коту, — враждебной и даже — смешной... Но помню, как я возмущалась его упорством и била его, держа за шиворот в воздухе, и швыряла в угол с испачканной в пакости мордочкой. Он знал вину и молчал, но взгляд его из-за печи вижу и сейчас: изумленный и огорченный до недр, жаркий, испуганный (почти во весь глаз — зрачок). Яро облизывался... Запачкали кошачью красу! При всем уме и близости нашей знать, как я, цену дров и трудность их добывания было не Мишкиных возможностей, и там, за печкой, исправляя мое надругательство над его шерсткой, он, быть может, мучился смутным вопросом — почему ему запрещают прыжок в снег, сибирский, или на чердак, наконец... Зато, когда в первый раз, осторожно (и грустно) Миха вошел сам в ненавистный ящик, как я бросилась к молоку, к черепку, как ласкала сдавшегося кота и как он звонко лакал, как ходил вокруг черепка, намекая: не мало ли? — завивая радостный хвост... О, я была не одна: Мишка был со мной, это было не «я» — «Мы»! Да вой выюги в трубе, да огонь в печке... Как оживлял, наполнял жизнь кот! Сколько же от него было ласки...

ГЛАВА 20. ЕЩЕ ОДНА ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Ей было 5 лет, когда она его увидела в первый раз. Он был худ, черен (т. е. черноглаз и черноволос), он смеялся, и он шутил — и во всем этом было — неизъяснимое. Это было счастье, и это был страх. На это нельзя было поднять глаза, при всей ее детсадовской прославленной смелости. Ее звали — Рита. Его — Игорь.

Она стояла, опустив голову, как от солнца, — если только так опускают от солнца глаза! Ее голова с туловищем образовала прямой угол, она глядела прямо на пол. А он был актер, племянник Ермоловой, он чуть позднее нас прибыл в село и, как человек бывалый, энергичный и театральный, сразу же принялся за дело постановки спектаклей в маслозаводском клубе. На эти спектакли мы и стали ходить с Ритой: что иное может сделать для нее ее бабушка, как не дать ей лицезреть то самое счастье, про которое говорят, что его нет на земле? Его лицезрела Рита, теперь уж подняв глаза — на сцену. (Потому что — издалека!)

При встречах же неукоснительно опускала голову под прямым углом к телу, видя перед собой только пол. Потому что так когда-то опускала голову Психея — перед Эротом. Точно так! Хотя Рита о них не имела понятия...

А Игорь — что мог делал, Игорь, племянник Ермоловой? Он играл! Он так играл, что весь зал — смеялся. А потом — так играл, что весь зал — плакал. Он делал с залом все

что хотел, Игорь! И не только с залом, а с Ритой, о которой все говорили: «С этой девочкой ничего сделать нельзя!». И единственное, чего он не знал, — это как ему поступать с пятилетней и потом с шестилетней Ритой, когда она стоит перед ним, как приговоренная, в ужасе опустив глаза! Но так когда-то стоял Эрот над стихшей перед ним Психеей. И хотя, в отличие от Риты, он знал об Эроте и Психее, но ему совсем некогда было о них думать, потому что жизнь летит сломя голову и от нее нельзя отставать. Все ведь было на нем: репетиции, режиссура, все тайны постановки, освещения, отопления, заготовка дров, конферанс; и надо было сыграть так, чтобы дамы ощутили себя — девушками, а девушки — дамами, мальчики — партизанами, чтобы все начальство повскакало с мест первого ряда и хлопало бы, как мальчишки. А что могла делать пятилетняя Рита? Она только умела глядеть на сцену своими большими глазами! И Игорь, отличив этот взгляд среди всех взглядов зала, — что мог он? Он мог только смущенно передавать мне с улыбкой контрамарки на следующий спектакль. Три? четыре? — года длилась любовь Риты к Игорю, — может, перейдя в другую сразу после его отъезда? Мне не удалось узнать по некой скрытности Риты. Она оберегала свое детское чувство ревниво, и в этом опять было сходство ее с Мариной, моей сестрой. Я узнавала себя в той же отстраняемости, как в детстве, когда была младшей, теперь, в старости, в новой мне роли — бабушки... И кошек Рита любила с той же страстностью, как Марина. Как она была счастлива в зимние визиты Феи! В немыслимый снег, когда все гудит и воет, и завтра не открыть ни сенную дверь, ни калитку о белые горы, — раздавался за окошком «кухонным» (над плитой или за дверями — как же громка она была...) Феин голос, и уж тут и дрова забудешь, и тепло, все на свете, только крючки дверные щелк-щелк; отряхивая снег в балетном прыжке, она влетала, подтверждая свое имя, сизо-серая, как вербная пушинка, легкая, как Екатерина Гельцер, веющая морозом Снегурка! И когда наставала ночь, все сыты, посуда вымыта, постель постелена, закрыты книги, лампадка потушена — ночь... как мирно, тихо — в этих буранах, в глуши — мы все трое засыпали в блаженном тепле кошачьем, в построенной на болоте избушке после доблестного дня труда...

В феврале, совершенно неожиданно, в самые бураны начала рушиться моя печная труба; размокший от снега кирпич (на пихтовском кирпичном заводе делаемый без песка, песок на стройку домов привозили по 1 руб. 75 коп. за килограмм) сдал, и ввиду опасности остаться без крова я пробралась через летящие белые вихри в село — заказать, умолить мне сделать железную трубу, нашла с трудом печника, одолела мороз в избе, и стало звонче гудеть в печи от новой тяги!

«Помни: февраль — уже весна: света... (март — воды, апрель — зелени)», — писала мне, утешая, сестра Лёра еще в зиму ту, у хозяев. О, какие слова! Как вновь и вновь они помогали! А мы с Мех-Мехом так свыклись, будто век жили вдвоем. Дни — светлели... А за февралем — март! Стал проситься Миша гулять: котовое право! Станет у двери, глядит на меня и мяучит. Вздохнув — не пропал бы, собаки бы не загнали, — стала его выпускать. Приходил. Как кидалась к дверям на царапанье и мяуканье! Как бросались друг к другу! Как Мишка мурлыкал! Точно орехи катал. А когда засыпал — пришепетывал, от нежности...

Было утро. Я вышла открывать ставни. (Да, уже были скромные ставенки из горбыля!) Влезла на завалинку (внук и на эту зиму засыпал землей и дощечками ее заколачивал). Смотрю, как Миша подходит к воротам. Уйдет? Вдруг стал и смотрит на улицу. Постоял и — прыг ко мне на завалинку. Взяла на руки. Унесла в избу... запросится, все равно... отпустила! И ласкается, трется... Соскочил и уж твердо вышел на улицу, и

пошел.

Его не было ни к обеду, ни к вечеру; я звала — громко, на всю улицу. Не пришел. В тоске проспала я ночь. Еще день нет его... Хожу и зову... Тишина. Еще ночь! Наутро, принеся молоко, девочка говорит:

— Серого кота какого-то убили... вроде коричневый. Не ваш, бабушка? В капкан к дяде Семену попал, кроликов у него таскать наловчился...

Обух по голове!..

В тоске, горе, степени коих трудно многим людям поверить, я вхожу в дом к Семену.

— А я не знал, что твой кот... Знал бы — не тронул... — говорит Семен.

— А может, не их, дядя Семен? — Ванька, подросток, племянник.

— Покажь им... Прибил я его, в капкане... Жалко, бабушка, кабы знал — не тронул бы...

Стою, жду. И выносит Ваня за лапу, вдвойне заостренного (смерть и мороз), — Мишку. Мне стыдно — и непонятно вспомнить, как я его от Вани взяла тоже за лапу (висел, твердый и неподвижный, как вещь). Как могла? Только потом уж, сказав понуро «Мой», взяла на руки и понесла; и тогда увидела, как Миша умер: лапа, попавшая в капкан, сильно вытянута, задние — в разлете (рвался... может, на мой крик!). Сколько часов так? Сколько часов так слышал мой голос... Не мог! Мордочка — будто назад рванулась: по ней — удар, смертный. Немного крови у рта. Глаза зажмурены. Какой холодный... На этом холодном дотла теле — шерстка Мишина — непонятна. Мех-мех...

Ваня за недорого выкопал в замерзшей еще земле ломом могилку — недалеко от дома, в углу овощного огорода, маленького, у плетня. Как в детстве мы хоронили птиц в Тарусе — Марина, брат Андрюша и я, — так я во что-то закутала Мишу. Чтобы не прямо в лед.

А весна наступала, как в первый раз. И Рита поднималась над своим прошлогодним ростом, как елочка подымается светлыми, шелковыми верхушечками над прошлогодним темно-зеленым мехом, колючим. Уже не голубые были, как в детстве, ее глаза большущие, а таинственно-серые, с какой-то легкой сказочной зеленью, и волосы из льняных, как у Нади, стали русые, как у Ритино отца, чуть пепельнее. И она понимала теперь многое, с ней было легко говорить, и манера ее грустить — о прошлогоднем, о Мишке, о Домке (о Домке по моему рассказу о нем — она приехала после него, на следующее лето), о каком-то мне неведомом коте и о псе, жившем у них без меня на Урале, — напоминала Марину и меня в детстве, в событиях невозвратно канувших. Они возрождались как во сне. Но были в ней вещи совсем нам чуждые, это были «знамения времени», с этим ничего было нельзя поделать, как ни старалась я их заменить героической романтикой, неопровержимым для нас... Мы теперь общались уже по-английски, я читала ей легкие книги, которые мне присылала Верочка Молчановская, подруга моя, по английскому языку.

...Как три года назад на широкой улице нашей, нами выстроенной, нюхала воздух, в котором слились запахи талой земли, отсыревшего под снегом плетня, пригретой у дома травки... И мычанье коров, бляенье овец, сельский концерт, любимый. Даль была в сизой дымке, как год назад...

...Я стою на маленьком лесном кладбище, окруженном кедрами. Какая удивительная тишина! Такое небо, синее темной лиловой синевою, было в тот день, когда

мы осматривали Неаполь...

На могилах цветут пионы. Разросся шиповник. Летают стрекозы.

Я навестила могилы знакомых, при мне тут умерших. Идя к выходу, огибаю большой свежий холм с широко разбросанной землей. Плотный крест — крупные буквы: «ПАРФЕН НИКИ...»

— А-а... Уже! Не знала... — Острая, бесплодным удивлением, боль. Знала — пошла б на похороны... Давно ли ладил рукавицы из Руслана... Скоро как! Одну оставил старуху! Двойной вздох горя. Не доносил рукавиц, Руслановых... Руслан мой, Руслан!

Как кружатся, сколько их, — стрекозы!

Кладу земной поклон. Я совершенно одна на кладбище. В кедраче — детские голоса, звонкие. Еще больше от них тишины.

Евгения Петровна, вдова его, живет одна, сдает комнату. Она стала очень стареть, глохнет. Слушая, она держит вдруг сморщившееся личико — вбок, и оттого, что не слышит, на нем застыла тоска и тупая усталость. Она улыбается виновато. Она ждет к себе какую-то племянницу, всем говорит про это: один свет в окне! Может быть, если та придет и поселится с нею, то у тетки, глухой, старой, бессильной, появится новый свет, в другом окне: всем рассказывать о своих обидах — легче, когда скажешь...

Овец у нее во дворе не видать. Ни гусей... Куры — есть. Кот шмыгнул во двор — пестрый, все тот же.

ГЛАВА 21. РИТА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. СЛУХИ О РАЗЪЕЗДЕ

Лето без Миши! И пуст огород, зеленый, по которому не прокрадывается маленький тигр. Не остановится, подняв лапку, нюхая воздух... Ни Домки, ни Миши. Одна!

Тем жарче жду Ритиных приходов, наших все длящихся рассказов о моем детстве, наших уютных бесед перед засыпаньем при свете лампадки. А наутро — целый день с девочками-соседками, лежанье в гамаке с детской книжкой и с огромным, для нее сорванным, подсолнухом. Привычно выколупывают пальцы крупные, свежие, полосатые семечки, они похожи на — закрытые лодочки... Шумят вокруг плетня всунутые туда ветви тальника, пугают воробьев — как год назад. Но все этим летом подернуто дымкой печали, как даль: безвозвратное отсутствие Мех-Меха...

Невестка и внук разделявали мне дрова, обрабатывали мой огород, сажали на нем и себе. Они делали тяжелую работу, но и мне работы хватало. Засеяли мне целую сотку подсолнухами — выросли почти в два метра, лесок. Мы теперь растили и помидоры, и сладкие болгарские перцы. Все здесь росло очень высокое.

Горох и конопля — рошицами. Достала я и вырастила кольраби (полукапуста-полубрюква) и карликовые лески фасоли, а горох трех сортов: низкий ползунок, обычный, — и сахарный. Не все вызревало — снимали перед морозами, вешала я через всю избушку, над головой — на веревочках, вниз плодами, выдернутые с корнем помидорные кусты, и круглые огоньки помидоров атели и раскалялись до спелости в засыхающей до хруста листве. Рубили, солили капусту, закапывали до марта морковь: лечение моим глазам и усиленное питание Рите — морковный сок.

Рита начинала говорить по-английски; я приводила ее к себе с ночевкой; как это было уютно! По пути продолжала рассказывать ей свое детство...

А на «Даче на Рейне» поговаривают об отъезде Капы — очень уж мучает ее климат

Сибири, участились сердечные приступы. Ей шел 74-й год.

В близком будущем — говорили, будет отъезда — собиралась и Тоня: скоро я останусь без них, и это трудно себе было представить...

Моя Нина тоже привыкла к ним, даже сдружилась. Однажды, по-дочернему провожая откуда-то Капу, она остановилась с ней перед большущей лужей. Капа стояла, перебирая на берегу старыми маленькими ногами в ботиках, когда Нина, присев, схватила ее, как ребенка, в охапку и, посадив себе на плечи, пошла с ней в сапогах по воде... Сколько смеху было потом, в обоюдных рассказах...

Елка! Собственно, две, как каждую нашу сибирскую зиму: одна — у меня, другая — у Нины с ребятами, — тогда я опять у них ночую: рядом с Нининой и Ритиной кроватью на матрасе впритык — уютно... Помнить, что игрушки самодельные, нам их помогает мастерить почти уже взрослый Геля, ему 16-й год! К елке я берегу полученные в посылках конфеты, а из набранных там, далеко, для нас и купленных предметов одежды, из книг присланных, игрушек для Риты я устраиваю опять «лотерею»: мы с Гелей пишем двойные билеты с номерами, честь честью кладем каждый номер на предмет, а их двойники — в мешочек, а можно и в шапку, и каждый тащит на счастье, а потом такой крик Ритин, когда ей достались большие Нинины варежки, а брату ее — кукольная посуда! Она кричала: «Неправда, мое, мое!» — а брат делал вид, что завладевает посудой, доходило почти до слез! Как она волновалась, получив братнины сандалии или когда мать надевала на палец ее летний башмачок! Зато какое блаженство и успокоение, когда наступал размен и каждый отдавал вещь, у него погостившую. Любопытна жадность ребенка; правда, это было вскоре по приезде моих ко мне. Рите было еще года четыре, когда, положив вокруг себя все сладкое, что получила в посылке, и все сладости домашнего жалобного изготовления, от нежданного изобилия и волнения она вдруг — расплакалась.

Время шло, Рита росла, все больше знала английских фраз (я не словам учила, а фразам — вопросам, ответам), и незаметно мы начинали говорить — на двух языках. Но она уставала. И, со вздохом видя ее тягу к соседским девчонкам, я, уводя ее от малограмотных, дурных навыков детей у ее жилья, плохой речи, приводила ее к себе, на Куйбышева, где звала к нам в «Ритин садик» (он год от году рос под восточным окошком), Надю-чувашечку — умную, своеобразную, выдумывавшую небывшее (я учила ее читать, и она, в пересказах прибавляя свое, была интересна! Откуда в ней что бралось?). Это росла в маленьком теле индивидуальность! Она осуждала черноглазую подружку Лиду, а свою младшую Верочку-кубышечку учила по-своему уму-разуму, не с материнских слов. Иногда они играли втроем — Рита, Надя и Лида; Лида обижалась, стеснялась, не попадала в ритм. Между Ритой и Надей реял зачаток дружбы. За столиком, сколоченным Басовым, они играли, рисовали, ели. Надя сдавалась на угощение после долгого боя. Ее светлые глаза (она была старше Риты) многое уже понимали. Капризы Риты с едой — осуждала. А потом ее звали, она убегала, мы шли в дом, в уют вечера, укладыванья, продолжения бесконечной (импровизация) сказки. День кончался полутьмой, моим голосом, певшим ее любимые песни, лермонтовскую колыбельную... Спит!

Как это случилось? Что двигало мной в этой внезапной жестокости, в какой-то перемене угла зрения на Якова Ивановича? Отчего бывает, что не узнаешь себя потом в том поступке, который, происходя, кажется осмысленным, убедив в себе твою совесть?

Смутно помню я, что в то время что-то показалось неожиданным в нем и в каком-то приходе его к Капе и Тоне. Я согласилась с ними, что он повел себя — странно. Такой трогательный, добрый, невинный — и вдруг... (в чем было дело — не помню). В те же дни я обратилась к нему с предложением набить на мои стены, все же тонкие, ряды колышков (мне посоветовали), на которые затем я буду кидать замешенную с навозом глину: колышки будут крепко держать ее слой, и стена потолстеет. Так делалось. Он согласился. Проработал, должно быть, дня два. Расплачиваясь, я дала ему столько, что была уверена, что он будет доволен. Больше я не могла, не было. К моему удивлению, он выказал недовольство, даже обиделся. Я сказала, что больше не могу, что советовалась с людьми, мне сказали, что плата хорошая.

Горько он отвечал мне:

— Пусть так. Как хотите. Я с вами не рядился и требовать не могу!

Ушел обиженный. А я вместо того, чтобы устыдить, — возмутилась. Его слова «не рядился» показались мне грубыми, не из нашего словаря. Как могла я не понять, что ими он отдавал себя на мою милость? Как могла я не почувствовать, что факт его обиды важнее любых расчетов о плате? Советов соседей! Что не они важны, а важно, чтоб он за свою работу получил столько, сколько он ожидал! Я осталась в несправедном негодовании. Не пожалела такого бедняка! Денег у меня не было. Но работа его у меня оставалась. Добавив затем свою, я получила толщину стен! Как могла я не обещать доплату? Так и не доплатила...

ГЛАВА 22. ОСЕНЬ. ВАСЯ. ЗИМА. ИСКУССТВО ТОПИТЬ ПЕЧЬ

Осенью в подполье обнаружились мыши — слишком серьезная угроза для овощей. Мне пришлось взять кота. Я несла его из села в мешке, чтоб не видел дороги, не убежал. Это был большой белый с рыжим кот, и звали его Вася. Боясь, что он убежит, потеряется в снегах и погибнет, я не выпускала его, как год назад Мишу. Он просился, скучал, но легко покорился затворничеству, с ящиком освоился быстро, ел кротче, чем Миша, невкусную для кота пищу. Он не отходил от нее сумрачно, как Миша (за что я тогда называла его «кушайте сами...»), и никогда ничего не трогал без спросу, даже вкусного, — Миша был тут анархичнее. В Мише вообще была гордость, стать. Он был мужествен.

Вася был сама нежность. Он ласкался лапами, как ребенок — руками; обнимал меня за шею. Мурлыкал не так громко, как Миша, но пришепetyвал, засыпая, дольше. Не полюбить Васю было нельзя, и я его полюбила. Как и Фею. Только она дольше не сдавалась, сердитей, чем на Мишу, шипела, даже била его серыми легкими лапами, но Вася понимал, что так должно быть, прощал Фею, и скоро Фея перестала злиться и лежала снова в своей любимой позе поперек Васи, сизым ковриком на его белизне с рыжими пятнами. Я зарисовала их сонный уютный ком, вздыхавший, как тесто. Горе о Мишке жило, но рядом с ним жила нежность к Васе и Фею и радость, что мыши заставили меня взять Васю, который прекратил мою горькую одинокую жизнь, превратил ее в ласку, заботы, в «беседы». С кошками и собаками говоришь не меньше, чем с человеком. Рита, не изменяя Мише, полюбила Васю. И осень и зима наши следующие были в ожившей избе. Верно сказал девятилетний Шурка, что живет напротив: «Изба без кошки, бабушка, мертвая! Я так считаю».

Зимняя лесная дорога. Усыпана хвойными иглами — ветер сибирский рвет ветки.

Иду на укол в далекую больницу села. У входа в село беленькая собачка. «На, на, на!» — я кидаю ей кусочек сахара. Она взвизгивает и, поджав хвост, уносится со всех ног. Обидела собаку — видно, подумала: я ей — камень... (Мои глаза не находят куска, — жаль: ни собаке, ни мне — затопчуг...) Но вот вторая: рыжая, большая, худая. Я сперва маню, затем, невысоко взмахнув рукой, кидаю кусок. Недоверчиво косясь, она воровато подбегает, убеждается, что сахар, хватая его — и мчится от меня во всю прыть!

Иду по зачарованной тишиной дороге: на темно-зеленой хвое — тяжелый ослепительный иней; небесная синева. У входа в лес меня обгоняет третья собака — коричневая с белым, пушистая, хвост — страусовым пером. Ей летит третий обломок. Она ловко схватывает его на лету, останавливается, сгрызает и, догнав меня, бежит рядом, заигрывая и пытаясь лизнуть. Затем она вспоминает, верно, что шла по делу, и спешит вперед, но, решив, что это — невежливо? — останавливается, ждет меня. Так мы идем с ней добрую часть моего пути. Она идет гордо и весело, благодарно бежит рядом, прыгает на меня, бежит вперед, закатывая глаза, — пока я не сворачиваю к больнице.

Собака останавливается и смотрит вслед.

Настала пора наружной обмазки избы — для тепла. Холодало. О, я теперь научилась у Лены Доброй, у меня спрашивали «рецептуру», видя, что нет трещин у тех стен, где я в 52-м году мазала... С каким рвением собираю я и таскаю без усталости (спину ломит — ташу, надо...) ведро за ведром конский навоз, ликуя, что — свежий! Не жалея ног, с конца улицы (глину копать не могу — 15-летний Гена или ребята соседские), и толку, заливаю водой, мешаю — глины четыре и шесть, а то и больше навоза (иногда коровьего, под коркой жидкого и вонючего), поднимаю его по всей поляне (коровий — для гладкости!) и мешу, мешу таз за тазом, руками растирая каждый комочек, чтоб «как масло» (слова Лены Доброй). И — мажу, до темноты! Темнота — что! Мороз... Уж послезавтра покров, когда я «еле чующими» от холода руками кончаю кидать, и размазывать, и пришепывать, и ровнять слои месива, совсем шелкового на ощупь.

...Идут соседи — жалеют меня и любят видою избы. Да, вид! А тепла сколько несусь в избу этими — от мороза отнимаются! — руками... И не чую боли в спине — жар радости! Преодоления! Одурь, опьянение... В чаду! На сегодня — кончила! О, как чуден час отдыха в избе — с ночником, за кружкой сладкого чая!

Лампадка, тихо... И впереди — ночь, сон... А наутро — опять мазка. Смеси — точной пропорции — для первой и второй мазки, и глины с водой и коровьим навозом — для третьей. Надя и Лида помогают мне: я хожу с ведром и старой железкой по нашей широкой и тихой улице от дома к дому, приседая у каждой кучки конского зеленого золота — навоз нужен самый свежий — и перед огромными темными вонючими коровьими плюхами, а девочки бегают взад и вперед и кричат возбужденно-радостно: «Бабушка, вон плюха хорошая, ба-альша-ая!.. Нет, не та, дальше, дальше — ага!». Или: «Ту не берите, бабушка, — корка на ней...» И провожают меня с моей добычей до самых сеней, где, как у Бабы Яги, котлы, тазы со смесями... И пока я до изнеможения мешу, они — то одна, то другая — рассказывают мне новости села.

Мешу я руками (в ногах силы нет, и смесь быстро стынет, а у меня ревматизм), и, когда я несусь, сгибаясь, неполный таз на улицу, Надя или Лида открывают мне калитку, кряхтят и сочувствуют.

Они убегают домой есть, покачать своих младших, и наступает мой отдых от них. Любимое одиночество...

Тяжелые шлепки месива хлопаются — надо с силой кидать, — и, пока рука их

оглаживает, ровняя, мысли гостят в прошлом, в далеком прошлом: взрывы солнечных морских волн в Канне, возле Ниццы... Шварцвальдский заколдованный лес детства... Перламутр парижских утр, ослик с тележкой (молочница)... Коктебельский закат над Карадагом. И уже бежит, еще в его зареве, пересекая сибирскую улицу, Надя и кричит: «Хватит вам, бабушка! А вон еще плюха лежит...» Кончала я часто при высокой уже луне. А утром девочки снова бежали ко мне, крича про плюхи.

Борясь с опасностью потравы, пересаживая, рыхля землю от появляющейся после поливки корки, мешающей овощу в росте; подвязывая помидоры, собирая, луща горох, бобы и фасоль и суша подсолнухи — утром раскладывая, вечером собирая их: чеснок, лук, все бобовые (на листах газет, на тряпье, мешках); к ночи убрав их в сени, спеша укутать все, что может померзнуть (помидоры, огурцы, все нежное); проделав весь труд по срезанью ботвы с корнеплодов (одной моркови до шести мешков, часть в подполье, часть в землю до предвесенья — вынешь ее свежую, как клали!), — я оправилась только к октябрю, когда Нина еще рубит и солит капусту; я, все прибрав в избе, кончила.

И снова вечер. За кружкой сладкого чая... Трижды мытые руки не без трепета берут кусок хлеба (пахнут все-таки навозом...). Греет мое одиночество память о вечере, когда, оставив на Гелю Риту, наскоро похлебав после целого дня труда, прибежала ко мне — урвала! — помочь Нина (три версты туда и назад!) — вымесила семь ведер! Я их вмазывала уж одной ошупью, когда по улице — огоньки...

Теперь уж, как год и как два назад, каждого возчика за полы: дров! А когда, Ниной и Гелей разделанные, я таскаю их к себе в избу и укладываю — это целая мозаика, искусство! — для сушки: сперва — на плите, догорающей, следя, чтоб не задымились, потом — между стеной и полкой, потом — им на смену другая россыпь поленьев, кладу их у печки. Чтоб ни одно полено не давало воды, которой полно, помня: 100% сухости в дровах дает 50% в количестве их надобности!.. Соседи дивились, как мало у меня идет дров.

Правда, ночи мои с половины были свежи. Утра — холодны: —3°—6°. Но ведь это и хорошо! И еще — искусство вложить в печь: крест-накрест, чтоб тяга!

Спичек — мало. Разжигать научилась одной: завиток бересты, лучина, два самых сухих полена (а там — чуть сырые) — и пошел полыхать добрый «пожар» печки... А тогда трубу на три четверти закрываешь — гуденье в трубе тише, — и начинает нагреваться изба!

Зимой появились щиты — заподлицо со стеной на окне и двери. Мал запас дров, а в избушке — тепло... Если я теперь говорю, что три года жила совсем одна — то огородные «деревца», то бураны — в моем домике на повороте дороги — до соседей не докричать, на широкой сибирской улице, то надо вычесть из этих трех лет время, прожитое с Мишей и с Васей. Это теплое, мурлыкающее, полное уюта и ласки — «мы»... Когда на ночь мы с Васей, заложив на вертушках щиты, отдалив вой вьюги и холод, оставались вдвоем — как же были хороши вечера эти, с книгой, с тетрадью, письмом, хлебом и овощами, забеленными молоком.

Зима застала не мое «я» в звуке буранов в избушке, а наше с Васей, под вой вьюги, — «мы». Но во второй половине зимы Вася стал так проситься наружу, что мне пришлось уступить. С тоской и страхом снова потерять друга я открыла ему дверь сеней — в белый хаос летящих вихрей, и он исчез в нем. Грустно я вернулась в избу. Не могла спать. Убирала, прислушивалась. Нет и нет... Долго! И — вдруг! Не почудилось ли? Нет? Удар в дверь! Но не мог кот так ударить! Чем? Всем собой? Я открыла первую дверь, за второй

затаилась.

— Кис-кис-кис... Ксс-ксс...

И из хаоса, воя «Бесов» пушкинских — голос:

— Мяу... Мяу...

Я рванула крючок, и из белой бури — Васин прыжок об меня снегом и шерстью, и с земли — прямо мне на плечо, и ласкается, обнимается... Я от радости чуть не заплакала — так уж к горю готовилась! И стал Вася гулять, стучать, возвращаться — как человек. Прямо с полу — взял он привычку — ловко прыгать мне сзади на шею. Но — царапал ее. И когда я, оборачиваясь: «Нельзя...» — он не прыгал, а виновато мигал, нахмурясь. Был очень послушен. Никогда не крал. Только однажды не смог удержаться: хвост сырой рыбки висел из пакета на краю стола так низко! Вася съел рыбку! И был ужасно сконфужен (неужели я не дала ему еще одну?).

Уж прогорели елки, как и год назад, и в моей избушке, и в Нининой комнате, и дважды порадовались огням ее Рита и Гена, дважды я готовила подарки, разделив присылки посылочные и украшения, бережно хранимые в коробках.

Однажды так занесло наши избы (мою и Тонину), что они почти скрылись под нанесенной насыпью. Тоню пришлось откапывать (это сделали соседские мальчишки, разделявавшие ей дрова) — дверь ее открывалась наружу, и самой бы ей не выйти никогда; моя, рукою Басова навешенная, осмотрительно открывалась внутрь, и я просто не выходила во все дни бурана: трудно мне было пробраться через высоту снега, который бы стал мне в дверь падать при открыванье. Снова через снег прокопал себе путь актер Сергей Тихонович, шедший меня навестить. Расчистил лопатой вход.

ГЛАВА 23. СНОВА ВЕСНА. УПУЩЕННЫЙ ДРУГ. КОНЕЦ ВАСИ

Апрель рвался в окна. Западное, то, у которого прощался со мной год назад Миша, уже было раскрыто. Снег и тот пахнул землей, которая побежала ручьями, которая просила семян. Фея сердилась на свой живот, мешавший ей прыгать легко, как любила. Но появлялась все так же внезапно, по-феиному. Соседского кота Жулика не было уж: не вынес болезни, и хозяин, с моего разрешения, закопал его в уголке моего огорода. Теперь держал он кошку Коку, и у обеих — у нее и у Феи — родились рыжие дети. Был ли этим сконфужен Вася — не удалось понять.

...Весна! Точно такой же день был, синий, из беспредельного шатра неба, где ликовали, стрелами носясь, птицы, когда Миша в первый раз вышел лежать на солнце. За последнюю зиму он вылечил лапу, которую ветеринар назвал неизлечимой, уж не на трех скакал, а ходил по избушке в бархатной стройности поступи — и погиб в первые дни весенней свободы, не успев побегать на четырех... Капкан схватил его за то, что он не был, живя со мной, сыт. Но, прыгая через плетень, под которым он лежит в земле, летит, мяукая, Вася — и я беру его на руки, вытирая тряпкой грязные борющиеся лапы, и радуюсь! Потому что жизнь всегда сильнее смерти!

Но с некоторых пор Вася стал как-то трясти ухом, держа его набок, и был грустен. Не мог помочь себе — лапой, ни я ему. Нести в ветеринарку? В ухе ничего не было видно. Казалось, кому легче? Уже шло лето.

А потом Вася пропал. Я искала его по всей улице, заходила в дома, вспоминая судьбу Миши. Все падало из рук. Я бродила по картофельному полю, клича его, заглядывая под кусты, не лег ли где, заболев, под ботвой... в которую так рвался —

умереть — Домка. Везде было пусто. Мелькали чужие кошки — не он. Я совсем одичала от горя. Шли дни. Васи не было. Погналась за пестрым котом — думала, Вася не он!

С кем-то прощаясь у моих сибирских ворот, сделанных из прибитых к тонким жердям прутьев, я увидела за ними черного с желтым пса, извивающегося от ласковости, тщетно рвущегося пролезть через прутья.

— Нельзя, песинька, — привычно оберегая вход в огород и рассеянно, потому что договаривала с человеком, сказала я в ответ на собачью ласку, но пес не внял слову, а, восторженно взвизгнув от человеческого голоса, к нему обращенного, удвоил, удесятирил приступ на жердяные ворота.

Откуда он взялся? Я знала всех собак на отдаленной улице. Но — камнем на могилу погибшего моего щенка Домки — запрет нежности к собакам. Еще не зажила рана. И все-таки, когда сосед отошел, договорившись о каком-то огородном деле, я, не в силах оттолкнуть собачью ласку, через прутья, присев у калитки, стала ласкать визжащее от радости существо.

Розовый язык лизал мне пальцы, собачьи глаза, закатывая в игре белки, трепетали под вздрагивающими бровями. Он валялся в пыли от счастья!

Будь я одна за своим плетнем, как и он, лаской не избалованная, я впустила бы его в мое овощное царство, много ли вреда принесет собачий восторг по грядам — с зари до зари гонишь чужих кур, гусей, ждешь овец и коров. Но у меня был кот. И я не могла впустить в тихий кошачий уют заклятого врага кошек. Два дня назад пропал мой любимец — белый с рыжим. Я искала его везде, и все меркло от страха, что погиб (разорвали собаки?). И мое отзыванье, и мой ответ на собачью ласку — было изменой интересам кота. Я еще не потеряла надежду, что Вася вернется. Слишком долго я жила, чтоб не знать, как любовь превращается в ненависть: изнемогающая от нежности к человеку собака вмиг станет хищником. А Вася мерещится мне за каждым забором и кадкой вот уже третий день... Нет!

Малодушно отвечая на с рожденья обожаемую собачью ласку, я сурово твердила: «Нельзя, песинька...» — и, как утес — волны, выдерживала мольбу убедиться в его праве на вход ко мне. Может быть, он говорил и о том, что добр, не хищник, что он — белая ворона меж собак, кошек не трогает? клялся? Интонации его взвизгов кончались взываньем. Были ли это отзвуки моих мыслей, он обещал сторожить дом?

Пришелец не знал и других моих опасений: снова взять собаку — повторится то, что уже было: он, после моей пищи, будет бегать к более богатым соседям на съестные запахи, шкодить, его будут гнать, грозить, что убьют... Пес не знал, что греющее, как печь, счастье дружбы зажато в горьких руках нужды.

Я гладила его, делаясь все печальней. И Вася... Нет!.. Я встала с колен, а он неистово рвался в ворота, крича, что я не вправе отнять уже было данную ласку, а с ней — корм, дом... Запрещая себе трусливое желание один раз покормить (приучить, обмануть и прогнать!), я вошла в избу, закинула щеколду, открыла тяжелую западню в полу, достала из подполья картошку и села перебирать ее. Обрывая длинные ростки, я прислушивалась, не мяучит ли Вася, не визжит ли собака тем особым тошным визгом, когда, припадая в прыжках к земле, они лают на кошку. Было тихо. Я сидела на краю западни над подпольем и обрывала ростки последней кучи картошки. Скоро уж подкапывать скороспелку... Как быстро летит время! Насколько быстрее, чем в детстве! Это вовсе не возраст, не субъективное ощущение старости — *объективность*.

Я вышла из избы. Уже совсем иначе лег свет в огороде. Тень от гороховой

сквозной легкой рощицы — почти до плетня. На грядки бобов пала тень от высоких подсолнухов. С волшебных, гнущихся в ветерке кружевных «елочек» конопля пронеслась стайка воробьев, задев по стене хмель. За молодым картофельным полем, там, где было раньше болото, за сухими шелестящими кукурузами чиста, как хрусталь, даль... Как тихо... Ох! Васи — нет!

Я спешно заперла на висячий замок сени. Книгу (читать в очереди) под мышку, палку, да еще вынести картофельные отростки! Я шагнула к воротам.

Там уютно и прочно, точно у своей будки во дворе хозяина, спал черный друг. Лапы с кротко спящими в шерстке когтями отдыхали вовсю. Он мгновенно вскочил, заходил ходуном, желтые его подпалины засияли на солнышке. Отряхивая с себя недоснившийся сон, голод, жажду, он приветствовал меня всем собачим азартом. Дождался хозяина! И, торжествуя, с готовностью сопутствовать на край света — «понимаю, спешим» — побежал (точно годы так со мной ходил) — пышный хвост крючком, «как страусово перо», — по дороге.

Это был средней величины пес, полудворняга, уже взрослый, с жизненным опытом, с кротостью прожитых лет. Увидев, что я остановилась (не вылить ли ему в черепок остаток супа? — Нет, ведь придет опять! Нельзя же!), видя меня, идущую, — он побежал, торопя — спешим! — лизнул руку и, зовя, помчался вперед.

Он бежал, отдохнувший, успокоенный обретенным жильем и службой рядом с хозяином, вдоль своего огорода, по-деловому лаял при встрече с бегущей собакой, с гусями, телятами. Он был счастлив.

Я улыбалась ему, горько стыдясь обмана, и через явь его чувств тянула явь моих: не бежит ли по полю белое с желтым Васи? Наперегонки бы бросились с тем черным другом защитить от черного врага... Но везде было пусто, и зной.

Булочная закрыта, хлеб еще не привезли. Я пошла дальше по делу. Друг бежал впереди, оглядываясь. Одно ухо поднято, другое висит. Кивает мне мордой по-щенячьи! — уже не по возрасту, — закатывая от счастья глаза.

Я вошла в калитку, пригрозив: жди, если хочешь, но в чужой огород ни-ни!.. Вслух: «Долго тут буду, лучше не жди меня...»

Но кто-то вошел со двора — раскрыл и калитку и дверь, — и в комнату ворвался мой пес.

— Куда тебя несет? — закричала женщина, замахиваясь полотенцем. Пес выскочил, она — за ним: — По грядкам полетит теперь!.. Вон отсюда! Все потопчет!..

Выбежала соседка. Убедившись, что пса не бьют, я сама, как побитый пес, вошла назад в комнату. Сердце ныло...

А когда я спустя некоторое время прошла в калитку на улицу — улица была пуста. И вот тогда сердце заныло по-настоящему... «Ну и хорошо, что ушел. Ведь взять не можешь? Найдет себе другого хозяина...»

На почте писем не было. В амбулатории было душно. Пахло лекарствами. Я вышла на крыльцо как раз в ту минуту, когда по мосткам, ведущим от почты в амбулаторию, пробежала черная собака. Нос к земле, растерянно нюхая... Мои следы?! Близорукость моя не давала уверенности, что это мой пес.

Уже не было видно собаки.

«А может быть, и не тот пес! Ты ж не уверена» — «Да, я так близорука». Ум так привык утешать себя и лукавить... Сердце сжало... Ну и ничего. Жизнь шла дальше. Я упустила друга.

Вот и все — о моем псе. Стою у калитки. Вот тут он лежал и ласкался...

— А какому-то коту дядя Семен в ухо стрелнул, — сказала мне девочка, пробегая, — ага, попал, я видела. Нет, не сегодня...

— Ну, это давно было — если Вася!.. — пыталась я утешить предчувствие.

А потом прибежал Вовка:

— Бабушка, вон у соседей наших на огороде, позадь нашего, кот ваш лежит...

Синие мальчишеские глаза полны жалости.

— Белый?

— Какой-то такой не совсем, пятнами.

— С серыми? (Последняя надежда, что не Вася...)

— Ага. С желтыми вроде... — упавшим голосом: — Ваш..

На задах незнакомого огорода, на теплой июньской земле лежит неподвижно Вася, на боку, передние лапы — согнуты, на шкурке — земля.

— Катался, видно... — говорит Вовка.

Присев, не видя от слез, глажу холодную Васину шерстку.

Вовка вырыл ямку в самом конце огорода картофельного, где год назад сажали с Ниной помидоры, и туда, в глину, положили Васю. Тоже в тряпочке, как Мишу. Вовка бросал глину лопатой. Вспоминая, как он сказал, когда у них кошка пропала: «Когда кошки нет, изба мертвая...» — я шла к себе полумертвая тоже.

А у двери — Фея. Переминается с лапки на лапку, делает горб, вертит хвостом, мяучит. Ждет меня. Смотрит зелеными глазами волшебницы, трется о косяк...

ГЛАВА 24. ЛЕНА ДОБРАЯ И БАСОВ. СМЕРТЬ ЯКОВА ИВАНОВИЧА

Согнутая спина Якова Ивановича исчезала, огибая угол моего плетня. Как похудел! Как состарился...

Жалость острой духотой сжала дыханье.

— Яков Иванович, урожай хороший! Смогу всего вам дать, не только картошки...

Будто оглянулся? Кивнул? Почему не крикнула вслед: «Получу пособие и доплату вам за колышки!..»? Как мне было бы легче — теперь...

Моей жизни в моем домике шел уже четвертый год.

С февраля по апрель замерзала вода в колодце. И я таскала всеми посудами снег. Да, у меня был уже настоящий колодец, давно уж я получала сто рублей (до реформы 61-го года) в месяц пособия, как нетрудоспособная. Все шло на доделки, ремонты — в старой конюшенке и в углу плетне. Колодец глубиной в два метра, вспомнилось, как Басов, 72-летний, узнавал, где рыть: потребовал сковороду, с ней обходил участок; положит — и ждет, запотеет ли. Где всего скорей запотела — там стал рыть. Над отверстием сделали крышку, чтобы не утонули соседские дети. Но в воде (зачерпнешь ведром) плавали лягушки и белые черви. На следующий год я достала горбыльных обрезков, и мне обвели ими земляные стенки колодца. Это сделал сосед, он же вывел наружу помост, выше и от детей к крышке приделал замок. И теперь у овощного огорода была калитка, крючок, и была укреплена стенка плетня, через которую три года назад была потрава. У меня в доме все было в порядке, так же как и вокруг дома, еще раз сменена сырая дверь — ее все «вело», — куплена из сухого дерева и еще одним отрывом сахара и масла ото рта — обита дверь соломой и мешковиной.

И оплата труда. Под западным окном — не поверишь, что бутафория, как ей

радуется, придя посидеть, Сергей Тихонович — из камыша и цветного старья смастеренный «старинный диван», натуго сшитый «подушками» (шпагатом, цыганской иглой) — спинка в три полукруга (средний — выше) перед щитом окна, и Юров садится тут на затянутый в цветную тряпку камыш — как в кресле ложи; держа стакан чаю и унесясь от своих физически непосильных работ в Москву, — кейфует.

В эту зиму родился наверху мой чердак: забили досками треугольники меж разлета стропил и потолком — затишье сверху. Теперь на засыпку — смазка глиной сперва, слой земли и слой еловых игл. Сверху не пройдет в избу ни мороз, ни снег, ни вода...

В эту осень, помня, как трудно с таянием снега, я заказала Басову то, что видела в детстве в кухне отцова московского дома: «коробку»! Глубокую железную коробку, которую мне вмазали в плиту, — и теперь можно было одновременно таять снег — и варить в котелках суп и овощи...

Из снятой двери Басов выпилил мне круг, приделал на ящик, и я покрыла его присланной мне старшей сестрой Лёрой в посылке чудной небесно-голубой клеенкой, и в моей избушке красовался круглый стол, как когда-то в Москве, в московском доме отца, в столовой в Трехпрудном. Посылки продолжались. Чего Лёра только не слала! Какой восторг был их открывать — все самое нужное, самое радостное: и абажур, и книги, и самодельные вышивки, и посуду, — как расцветали и сердце и комната! И каждый месяц — от пенсии подруга Верочка Молчановская аккуратно по сто рублей. И Лёра от своей маленькой пенсии — аккуратно, ее часть в месяц, который год! Как я благодарна им, как волнуясь, получаю!

Напротив меня живет молодой эстонец Освальд, у него фотоаппарат «Любитель» — как поздно я это узнала! Он снимает мой домик за крайне скромную цену со всех четырех сторон — может, и я уеду? — а вот Васи у меня не будет на память, ни Миши, ни Домки... Как пышно цветут в Ритином саду тарусские дары Лёрины — кусты золотого шара и рыжие лилии, скоро расцветут лиловые мелкие астры на высоких кустах, а на будущий год — в первый раз розовые и красные розы на гордо поднявшемся оперении, их тоже прислала мне сестра Лёра — корешки в надрезанном ящике.

Вася живой заслонил мне Мишу. Но теперь он ушел, и из тьмы вышел Мишка, и оба снова со мной — в поднявшейся, как роща, памяти о них и тоске. И Рите скучно без них, когда она сидит в своем садике за столом и грызет подсолнухи... Красиво рисует буквы... Но однажды, шести с половиной лет, стоя у двери в мои сени, под разливом хмеля, она вдруг сказа и было удивительно слушать:

— Вот и кончилось мое детство...

— Почему? — удивилась я.

Она не могла пояснить, что произошло с ней в ту минуту.

...Немного раньше этого времени влетела хохочущая Лена Добрая:

— Слыхали такое? Мне Басов делает предложение! Ты, говорит, хорошая хозяйка, а и я, кажется, хозяин неплох! Твои молодые скоро отделяться хотят, так я слышал! Так вот и складно у нас с тобой будет — твоя изба, мой труд! Тебе, как хошь, без хозяина — никак! — Она говорила и хохотала. — Хорошо придумал? Это я буду за стариком, за мужиком ухаживать, портки стирать? Угождать мужику? Мой муж сколько лет уже умер, а я — замуж пойду?

Пылавшее лицо ее, смеявшееся и гордившееся — и предложением (знай наших!), и отказом своим (знай наших вдвойне!), — было живописно вне мер — восхитительно! Это был такой час жизни, когда в жизнь врывается — Театр! И Лена, эту роль принявшая в

грудь, как удар кинжала, играла ее, как Ермолова, крепостью истекающей из ее раненой жизни, еще живой, крови, безошибочно в каждом движении и интонации. И я (одна — зритель) не отрывала от нее глаз и души. Хоть с тою же страстью мне было жаль Басова, так верно выбравшего себе подругу, — другую по себе не найдет!

Совсем неожиданно, в какой-то июньский день, вбежала к невестке моей бывшая актриса Ванда. Лицо ее было искажено горем, под глазами — тени. «Она худеет, как Яков Иванович!» — подумалось мне.

— Умер! — закричала она, бросая на стул шаль, которую сдернула с головы. — Яков Иванович! Сегодня, в больнице! От заворота кишок! Наверно, поел плотно, где-нибудь накормили... Завтра похороны! Вот бедняга, вот бедняга... И никого у него нет на всем свете, кто бы его пожалел...

Не скажи Ванда этих последних слов, я бы, как она, погрузилась в безутешность ее страшной вести. Но сила удара этими словами, ослабев, устремилась к тому, в чем было это утешение: ей, ей, той единственной, которую он звал Друг, — ей сообщить горькую весть, написать ей, как он ее вспоминал! Я шла к Тоне и видя от слез дорогу, но была светлая утешность в душе.

Вправо, в глубину от широкой, почти сровнявшейся могилы Парфена- Никитича вырыта яма. Тут ляжет Яков Иванович. Он лежит еще между нас, в открытом гробу. Это он? Неузнаваем от тяжелой смерти. Не знаем, как умирал, ничего не знаем. Он лежит — каким никогда мы не знали его: спокойный и строгий, успокоенный на веки веков, ни о чем не тужит, ни над чем не старается, никто никогда уже его не обидит — это все отошло — назад. Строго, почти гордо лицо — не его. Куда делась веселая сперва, потом одряхлевшая мягкость черт? Лежит вельможа. Худой, торжественный остов горбоносого лица, слегка лишь напоминающий то, живое, теперь отстранившееся, над нами поднявшееся, хотя лежит почти у земли. Он все знает уже! Перестрадал столько, насколько изменился. Как бела рубашечка, смертная! Почти наряжен. Еще с нами, но он уходит! Вот он какой был, а мы... И почти уже не точит боль, его увидав, боль, что вчера еще... — о моем грехе перед ним — деньги, тогда недоданные, — так далек он от нас, так высок, так повелителен к нам, в тайне смерти.

ГЛАВА 25. МОЙ ОЧАГ РУШИТСЯ. ПРОЩАНИЕ С ФЕЕЙ. НОВЫЙ ОЧАГ

Был конец лета. В полутора верстах от моей избушки, в самом селе, близ артели «Северный луч», там, где в пимокатной работала Нина, была ее, артелью ей данная комната. До той поры за моей внучкой Ритой в детсад ходил ее брат. Он через лесок приводил ее — уже три года — домой. Мать их, как и все работники артели, работала то на посевной, то на уборочной, и она приходила к детям не ранее девяти-десяти часов вечера.

Я проводила у них вечер и возвращалась к себе в темноте, мимо канав, полных воды; фонарей на моем пути не было.

Это было трудно, но возможно. Так шло почти три года. Но однажды Гена, перед началом ученья, пришел из школы с новым расписанием, лишившим его возможности заходить за сестрой в детсад. Я стала перед дилеммой: или пускать девочку одну через лес, по-детски небрежно укутанную, в морозы и вьюгу, и где будет она до матери — одна среди чужих? Или ежедневно ходить за ней в детсад и до ночи быть в полтора верстах от своей избушки, без возможности ее протопить вторично (многие тогда в сибирской

деревне топили и по три раза в день) и ложиться в холодной избе (на ночь топить соседи бы не разрешили, слишком велика опасность пожара без пожарной команды), — долго ли выдержу я такое сама? А если слягу, тогда что? Ребенок — брошен? И была еще одна невозможность: по пути из детсада к жилью невестки ежедневно под вечер мчался на водопой к реке целый табун коней: ребенка бы смяли — вмиг. Вопрос ясен: мне надо продать избушку (такую маленькую, но кто ее купит? А если — да, то за такие деньги? Разве я смогу купить другую, куда бы забрать невестку с детьми, жить вместе возле артели?).

Стою над сладко запахшими к ночи маленькими лиловыми цветиками — как крепкие духи вокруг дома, — думаю. Нет выхода! Продавать дом!.. И искать что-то вблизи Риты, вблизи Нининой работы. Перетащить их туда, жить семьей... А дверь дома скрипит: «Останься, на кого ты нас...» Конопля кланяются... Фея стоит на пороге, вопросительно смотрит. Сердце — на части! Надо уехать... Но где взять денег на большой дом? Надо — и негде. К ночи — череп на части!

Положение было безвыходное. Я написала о нем всем, кто мог посочувствовать, посоветовать. Помочь же не мог — никто: все близкие и друзья жили трудно, еле сводя концы с концами.

Год ли прошел? Кто вспомнит? После рассказа Лены о предложении ей Басова Василия Ивановича, одиноко жившего на квартире, куда я тогда пришла к нему за духовкой с Мишкой, его разбил паралич. Сын приехал за ним и увез его в город — в самый разъезд. Спустя год — не ошибаюсь? — смутно пошла весть о его смерти...

...Кое-кто ведет переговоры с близкими об отъезде, но так страшно тронуться в гадательный путь с трудностью поселиться где хочешь. Скоро, скоро отнимется у меня радость дружбы с Тоней — Капа не в силах переносить сибирскую зиму, едет в Ташкент, тут прожив у сестры три года. Да и Тоня скоро, верно, сможет уехать.

Шел август. 1 сентября начиналось учение. Я запомнила 28 августа, памятный день, перед началом учения. Это число в семье нашей всегда проводилось вместе.

Мать любила его. И в моем отчаянье я убедилась: в этот день мне должно прийти что-то! Медленно поползло время в труде и тревоге.

Словно напоминая мне о скором будущем, выпадали то дождливые, то холодные дни, и сердце сжималось тоской о том, что нет выхода, жизнь не может предложить ничего, что бы вывело меня из настоящих тисков: ребенок будет предоставлен на волю случая и опасности. Зрелище скачущих по дороге коней, от которых шарахались прохожие... Вид моста, где вместо перил была протянута толстая жердь, укрепленная лишь изредка поперечиной, над глубоко внизу текущей речкой. Уж темневший лес по пути из детского сада в село, где в метель сбиться — одна минута. Ни мать, ни брат помочь не могут. Одна я. А что я смогу, если, как два года назад, слягу в плеврите? А ведь плеврит начался в избе протопленной, ни в одну из зим я не ложилась спать в холодной, да и никто не жил, не топя, — а придется! Как обеспечу я внучке безопасность, присмотр, своевременный отход ко сну (вставать в детсад ей — рано...) — еду, наконец? Приходили письма — сочувствие живое и теплое. Кто-то в письме советовал запереть мою избушку и перебраться на зиму к невестке. Увы! Ласковые, убеждающие слова были потрачены даром: разве дело было в том, что нелегко жить не у себя, в тесноте? Мое подполье было набито картошкой — мешок за мешком спустили мы туда с невесткой и внуком весь плод моего огорода, надежду сытости семье на целый год (у них огородик был мал, плох, внук отсюда таскал по ведру). В подполье много моркови (я терла ее и носила внучке сок).

Кочаны капусты висят великаньим ожерельем вокруг всей внутренней завалинки. Вместо помощи семье стать нахлебником, погубив урожай? Я сложила письмо. Глаза были сухи. Лучше бы плакать... Отчаянье было немо. «В тесноте...» Кабы так! Но невестка с детьми жила в проходной комнате, мать и дочь спали вместе. Внук — на узеньком топчанчике. Оставался проход между ними, проход к соседке. Если б и была раскладушка, ее было бы разложить — где.

Первое сентября близилось. Все валилось из рук. Погода стояла тихая, жаркая. Было 27 августа. До начала ученья оставалось пять дней. У огородной калитки, закончив свой день труда, еле чуя ноги и руки, бесцельно глядя туда, где маленькая — не больше муравья — точка двигалась через пустыри, минутной стрелкой незримо ползя, пересекая пространство. Муравей теперь уже был с божью коровку. Удлиняясь, росла, превращалась в очертанье человека. Идет к нашим выселкам. К кому-то... Надо идти домой! Я повернулась — и в тот же миг раздался далекий крик. «Ба-абушка!! Те-ле-грамма!..» — кричал женский голос, и над головой подхлывавшей в воздухе полыхало заходящим солнцем что-то похожее на крыло мотылька — загоралось рыжим и тотчас потухало серым, и опять, и опять... уже видно было очертанье бумажки. «Не волноваться?.. — сказала я себе, — и ничего не ждать! Просто — кто-то высылает посылочку — детские платица, угощенье ребятам!»

И я пошла навстречу почтальонше. Но ее лицо расцветало при каждом шаге.

— Тыщу тебе шлют, ба-буш-ка! — уже не кричала, а говорила она. — Сестра, должно, подпись на ту же фамилию!..

Смуглое худое лицо ее было освещено закатом и — счастьем! За *другого* счастьем! Она несла человеку чудо, в первый раз в своей рабочей жизни, в первый, в единственный! Она никогда не узнает, что была в эту минуту — красива! Как в свой свадебный час... Запыхавшись, она протягивала мне телеграмму.

— Завтра, как встанешь, сразу иди на почту! А оттуда, как деньги получишь, — ни в магазин, никуда — в сберкасса! Сельсовет пройдешь — и пекарню. И рядом с пекарней — сберкасса... Книжку тебе там заведут — и береги ее, по книжке тебе выдавать будут, на что тебе надо...

Она мне была — как дочь сейчас! Но, может быть, у нее была дочка, как у меня внучка Рита, и что мелочи в кошельке у меня было, я все ссыпала ей в руку, которую она было отдернула, за спину спрятала, но я обняла ее, и мы смеялись и плакали обе, и я радовалась, что в этот вечер она высыплет на обеденный стол — конфет!

И расскажет детям своим про волшебную телеграмму...

Она уходила, а я смотрела ей вслед, пока она завернула за угол плетня, и, сжав чудо в руке, пошла в дом.

Щедра была жизнь: увлекшись идеей сберкассы, заботой о бабушке, почтальонша ушла, не заставив прочесть при себе текст. Он был нацело мой.

Я развернула на почте распечатанную телеграмму: «Шлю тысячу задаток избу селе остальное почтой Цветкова». Зоя! Друг с 32-го года! (Ее фамилию, с моей сходную, приняли за искаженье моей!) Господи! И это — не сказка?

Как я прожила этот день? Как дожила до 28-го?

Что снилось мне в эту ночь?

На другой день на почте мне улыбались, расспрашивали, поздравляли. Из сберкассы я прошла к невестке, в артель. Она вышла ко мне в пимокатном цехе — в майке, пот струился по ней.

— Нина! Переедешь ко мне с ребятами, если куплю в селе другую избу? — Я рассказала про телеграмму.

— Перееду! — просто отвечала невестка. — Только одна не покупайте, с понимающим человеком надо!

— Ну, еще бы... Будем вместе смотреть! Только найти бы!

— Теперь многие уезжают, найдем... Прораба позвать, пусть все осмотрит...

— Письма подождем, обо всем — в письме! Мою избушку продать нелегко — наспех...

Ее звали. Я шла по селу, глядя на избы, не чуя ног под собой.

Я стою на поляне, на нее выходит знакомый участок: тут я бывала в гостях у трех женщин, со мною приехавших в село тому назад годы. Сложившись, они купили эту большую избу и, недавно уехав, продали ее, говорят, каким-то старушкам. Стою, люблюсь, дивлюсь. Жившая тут Светлана ткнула в землю тополиные прутики — пять лет назад. Вымахали выше крыши, шумят тополя! Да, удачно они купили тогда — изба теплая и большая.

Моя перед ней — ребенок... Иду дальше, смотрю, мысленно прицениваюсь, пугливо... «Остальное — почтой...» Чтоб купить семейную избу, мне надо к богоданной тысяче прибавить неплохую цену за мою кроху... Кто даст? Но в такой день мрак не идет в душу! Раз чудо началось — то продлится! И я — куплю! Переедем все — и я буду с Ритой! Кончены хождения по темноте мимо ям, полных водой, кончен страх за ребенка, я буду возле нее, не страшны кони с их водопоем, ни лес, ни мост!

И когда меня вдруг схватывает за сердце расставанье с моей избушкой — даже это, даже эта сплошная — насквозь! — боль сегодня какая-то светлая — точно во всем сейчас рай.

На обратном пути, идя мимо избы с тополями, я увидела на пороге — старушку. Вспомнила: а ведь эти три сестры — староверки! Они купили избу!

Но день этот — не простой день: они продают избу, уезжают... Дрожа от волнения, вхожу во двор, в сени. Нет, не может быть! Таковую избу не поднять!.. Три старушки и я, четвертая. И творится непонятное волшебство.

Бледные глазки младшей смотрят в мои незряче. «За сколько? А это уж как старшая наша сестрица Хеония скажет!» И зоркий серый взгляд средней, провожая идущую по избе третью: «Это уж как сестрица Хеония решит...» — «Заходите! Тысячи коло трех... Дом крепкой, продухи в землю вросли, теплой. Русская печь, сами видите (младшая)». — «А размер — 20 метров изба! (средняя). Притом же — стайка и сени...» — «Колодец пять метров рубленой (младшая), а земли огородной семнадцать соток, богатство!» — «А кустов смородинных тридцать два куста! (средняя)». — «А задумала сестрица Хеония на родину ехать, стало быть, продаем...»

Жарко мне стало, даже пить захотелось! Чуть было не попросила — вовремя удержалась: дать-то дадут, да потом, по своему закону староверскому, будут мыть-отмывать чашку чужого питья...

Я иду Первомайской улицей, а в глазах — все сразу: изба трехконная, печь, как домашний божок, посередине, и колодец, и смородинный лесок перед домом... А Светланины тополя шумят круглым шелестом — так до самой почты дошла. А на почте заказное письмо: легким, молодым почерком, свободным и своевольным, Зоино письмо. Цветковское, шелестит листьями. И читаю я его — как в бреду: «Шлю Вам тысячу телеграфом, а две тысячи — почтой. Торопитесь подыскать дом. Вам, обдумала, нет

другого выхода, Ася, как купить дом в селе и перевезти к себе невестку с детьми... Деньги я выиграла и считаю грехом их оставить в семье, где все дочери и мужа их работают. Разделила тем, кто в них нуждается. На Вашу долю три тысячи».

Письмо это я получила 28 августа, в наш памятный семейный день.

...Первого сентября начиналось в школе ученье, первый день нового расписания внука.

29 августа я подписала со старушками-староверками договор. У них уже было все готово к отъезду — так торопились на родину, и первого утром они выехали, а Нина с детьми вечером въехали в дом.

Моя последняя ночь в моем доме! С памятью о моих дорогих друзьях, зарытых в земле, покидаемой: Домка, Мишка, Вася. И Чернобурик... Моя последняя ночь!

День прошел. Сколько вещей связано, перетаскано... Это все увезет артельская лошадь.

В узелок — последний скарб. Почти вечер. Надо спешить... Острым взглядом — все: *чтоб запомнить!* Глажу дверь, щекой о нее — как о мои ноги Фея. Выхожу. Знобит.

За далеким лесом — сизая мгла. Первые огоньки в селе... Какой торжественный час жизни! И как страшно — одной.

Закрываю замок, ключ занесу соседу. Гляжу на конец огорода — болота, мной поднятого. Двадцать две культуры тут у меня жили! Прощайте, пустые грядки! Вспоминайте меня по весне! (Розы мои, зацветете?) Я шагнула, а Фея за мной, из сеней... Прощайте, Вася, Мех-Мех, прощай, Домонька!.. Одни остаются, в земле... Ухожу! А навстречу, в ветре, — кланяются гибко конопляные «елочки», *прощаются!* Это было так потрясающе, молчаливое их мне «прощай» и поклоны, что я, узел бросив, погладив их ветки двумя руками, схватила, прижав к себе, Фею и побежала, спотыкаясь обо что-то. Длительное прощанье — не могла. Прочь!

Вот что вспомнилось — о моей целине...

...Говорят, нет чудес? Тракторист МТС, бедняк, эстонец Лемберт Иохеллес покупает мой дом. Дает за мой дом — больше не может (стоил мне с доделками, с оградой и огородом, за годы — 4500) — 1700. Единственный покупатель! Что делать? Деньги платит частями, а часть — мукой. Совал деньги в руку на улице, расписки не брал. Не понимал: «Расписка? Зачем? Я дал — вы взяли...» Эстонец! Жену его зовут как-то Зайка, Вайка? Двухлетняя дочка. Он их выпишет! Он прирубит вторую комнату... Ему еще долго не удастся уехать отсюда. По рукам!

Как во сне, перевезла свои вещи. Фея от меня не отходит. В далеком селе огоньки загорелись, — Фея терлась у ног, понимала, ластилась, провожала, помнила, как и я, — все... И тогда я, поцеловав ее, спустила на землю, она побежала за мной — в первый раз! — никогда до тех пор не бежала! По октябрьской траве, уж подмерзшей, и не Феиными прыжками, веселыми, а побегом беды. И долго, как, должно быть, бежал на трех лапах, «перебираясь» к Басову, Мишка мой, тогда невидимый спутник, по осенней черной ночи. И мне пришлось изобразить гонящего — топтать ногой о дорогу, замахиваться на Фею, делать вид, что нагибаюсь, бросаю в нее землей... Чтобы шла домой. Чтобы не украсть друга, — пока она, остановившись в недоумении, смотрела на меня и не двигалась...

Я пришла еще раз по делам к соседу, но его не застала и добрела по пустой осенней улице (четыре года — моей) к Дусе, Феиной хозяйке. «Глядите, глядите, как бабушку узнаёт!» — крикнула Дуся, синеглазая, когда-то красотка, желтая от болезни печени,

вышедшая меня встретить, — меж поднявшегося леса белых гусиных шей, качавших янтарные клювы, перекрикивавшие хозяйку. Потому что Фея, меня увидев, прыгнула на перила крыльца и уж готовилась с них — мне на шею: уж пружинилась! Когда же я стала прощаться с ее хозяйкой, побежала она первая к двери, побежала за мной по такой грязи — дымчатым привидением. У соседа Кока кричала истошным голосом он с женой только что уехал, а поселившиеся в его доме люди кошку его не пускали. Увидев меня (до тех пор меня не замечавшая), она узнала и удвоила крик.

— Еще раз *приду*, — сказала я ей, — и если тебя тогда еще никто не возьмет, я тебя *заберу*, Кока!

Путь шел мимо моего бывшего домика, ветер трепал еще не облетевший у двери хмель. Фея остановилась. Затем, удивясь, что иду мимо, забежала вперед, прыгнула через плетень и, танцуя у двери, стала мяукать, звать: домой же!.. Сжав сердце и память, я понесла ее назад, в ее дом.

ГЛАВА 26. ВТОРОЙ ДОМ. КУТОРКИ

Мы теперь живем у самого леса хвойного, в противоположном конце села, на Первомайской улице.

Рядом с нами живет украинец с семьей, из Полтавы, — жена и три дочки, родившиеся все уже после отъезда с родины. Дальше — врач и медсестра, соединившие свои жизни, у нее дочка — моложе Риты — тоже Рита! Две Риты! Ходят в один детсад. Напротив — семья из Западной Украины. Жарко и быстро построил он дом, ожидая жену и красавицу дочку трех лет (тезку мою, Асю). Работал на двух работах, все впроголодь, потому что все слал им и достраивал дом, и как счастлив и горд был встретить своих в срубленном своими руками доме! А налево от нас — семья, здесь давно живущая, как и все тут крестьянские семьи. Эти уже обжились — корова, хозяйство, — и жадность уже замечается...

Дом, таким чудом доставшийся нам на выигрыш моей героически-доброй подруги З. М. Цветковой, куплен мною за две с половиной тысячи, а полтысячи ушло на ремонт: сжали кое-где выпиравшие бревна стойками на винтах, подправили крышу, подняли четвертое окошко (на запад). «Тридцать лет еще простоит!» — сказал прораб. Перед окнами южными — три тополя (выше крыши — Светланины). А у Риты — это же рай! — тридцать два куста смородины и малины...

Дом — широкий, вросший в землю, без продухов, жаркий! Большое подполье. Но, увы, в нем «куторки» (сибирские — мыши? крысы?). Я так и не увидела ни одной, но сколько горя они принесли! Как избежала от них гибели Тонино наследство мне — кошка Жанна? (С Тоней прощались наспех, в разгар моего переезда. Возвращается в свой Ташкент.) Но Жанна ушла — и не вернулась. Может, искала путь на старое место? Я еще при соседке там, на улице Куйбышева, взяла котенка от его Коки — трехцветного Барсучка. Трехцветных котов, по общему убеждению, не бывает — только кошки. Но Барсучок был белый, серый и рыжий, красавец и весельчак. И когда я, сходя на старое место, забрала оставленную моим бывшим соседом Коку, мать Барсучка, возле «чужого» (родного ей) дома, куда ее новые хозяева так и не пустили, плакавшую на свою судьбу, и принесла ее к нам, то Барсучок потянулся к матери, от которой был взят дней за 10—15. А мать его не признала: зашипела и завывала угрожающе. Барсучонок (и мы за него) огорчился. Но он не мирился с такой неестественностью, продолжал ласкаться о мать, и

однажды мы увидели спящую Коку, обнявшую лапами сына. Я зарисовала их, сонных. Мы — Рита и я — радовались кошачьей семье (они играли и нежились). И вот заболела Кока: перестала есть, лежала; потом с ней сделались судороги, и пришла смерть. Барсучок резвился, но через несколько дней слег и он, проболел точно так же, как мать, — и умер. Мы с Ритой зарыли его в углу палисадника, возле матери. Печально вернулись в пустой дом.

— Это от куторок! — говорили соседи.

— Теперь мыши одолеют! — сказала Нина и принесла кроху кошечку, пушистую, белую с серым, тут же наименованную Мяушкой за женственно жалобный голосок.

Будем зорко следить, чтобы не скользнула в подполье. Но дух же кошкин куторки учуют... Росла. Носилась с кровати на стену, повисала когтями на Ритиных картинках, с разбегу прыгала на нас и кувыркалась. Мы с Ритой, и Нина, и Гена — берегли ее от подполья. Но от подполья как уберечь! Постоянно открываешь западню (крышку) — доставать картошку, и наши грубые руки не могли поспеть за восторженной любознательностью кисы. И хоть мы понесли ее к ветфельдшеру, Мяушка погибла точно такой же смертью, как Кока и Барсучок. Долго не хотели мы кошек!

Спешка и суета переезда, горе от куторок, новизна жизни в большом доме с Ритой, в семье сына, посылки от сына, волнение от так внезапно изменившегося всего вокруг; знакомство с соседями, постоянное любованье добротностью владения (широко разлившийся за домом огород с «настоящим» забором, невероятность обладания пятиметровым рубленным колодцем, уют совместности с Ритой, с утра до вечера английский разговор с ней и спокойствие за нее при моем присмотре) — все это не сразу дало осознать, что со мною, внутри, происходит: оно проступало как бы пятнами на стене, как бы неясно звучащей минорной мелодией — в шуме вожделенных тополей, широко шелестящих над крышей, еле намечающейся сединой печали у ягодных великолепных кустов, где, сияя, паслась Рита (после жалких «Ритиных садиков» у меня на улице Куйбышева...). Но в какой-то час, ночной может быть, я поняла вдруг со всей несомненностью, что я тоскую — и как! — по моему домику, по моей жалобной крошке, любимой, четыре года из ничего появившейся на пустыре, мною рожденной, где столько счастья и столько горя незабываемо пережито!

И в этом семилетняя Рита понимала меня с полуслова, со взгляда — родное мое дитя!

Вспоминать — было у Риты тем свойством, которое роднило ее с Марининым и моим детством. А ее третий год длившаяся любовь к племяннику Ермоловой — как сходно было с моей к репетитору брата, студенту Ласточкину!

(Прошли десятилетия — сколько городов, переездов, людей, домов, — ей все виделся наш домик на Куйбышева, и с ней долго шла мечта поехать в то наше село, уже во мне погасающее, но живое в детской памяти...)

Но не только тоска моя еще была в том, что порвалась моя связь с землей, кончилась радость и страсть выращивать, охранять, собирать урожай, особенно трудный в дни копки картошки, срезания кочанов, засолки капусты... Все делалось теперь не моими заботами и тревогами, *ушел трепет общенья с землей!* Все шло складно, как надо, без надрывания сил — но из дней ушло волшебство растущего познавания, слияния, овладевания... Огород, тайнами коего я дышала все эти годы, отступил от меня, как отступает что-то во сне, — хотя кругом была явь, трезвая и полезная. И в часы, когда Рита была в детсаду, Нина — на работе, Гена — в школе и я одна оставалась в доме, и я

ощущала себя непонятно постаревшей, отстраненною, не у дел и бродила по дому как неприкаянная — в нежданной и ненужной мне праздности...

Куда же канули часы моего счастья — в труде над моим огородом?

Я огороду оказалась ненужной. Кончился *труд* мой... Другие руки трудятся — и в совсем другой усталости, чем восхищенная и бредовая — моя... Не моей любовной заботой вырастут по весне конопляные «елочки», зашелестят заросли кукурузы... Кончилась моя волшебная, одинокая жизнь — с разноцветной зеленью огорода, поэзия ушла из дней! Польза вошла в дом, безлюбовная проза... Я отодвинута опять к книгам... Это моя старость пришла!

Это правда не сказка? Уезжают? Все переменялось. Вечная ссылка кончилась. Справа от нас, недалеко по улице Первомайской наш сосед, молодой украинец Полтава, уезжает к матери на Украину. Сияет! Дом, им выстроенный, продал — дешево, распродал все: птицу, корову, хозяйинвентарь разбросал по соседям — «домой еду!».

Старшие из трех его маленьких дочек прощались с детьми соседскими, радостные — к бабушке едут! У бабушки — сад, сливы, вишни... Оставшиеся — кто с завистью, может быть, кто с сердечным сочувствием глядели вслед...

ГЛАВА 27. ПОЛИНА. ВИТЯ. ЕЩЕ ОДНА ЗИМА. СВИН

Однажды на почте, увидев у стоявшей там женщины книгу о помидорах, я разговорилась с ней. На мой вопрос отозвалась охотно, весело, и мы выходили вместе, обе повеселев. Худенькая, пожилая, в необычайно широко раскрытых и необычайно ярко горевших глазах сверкало такое доброжелательство, такая жажда общения, такая легкость вхождения в другую жизнь и такая молодость восприятия, такая страсть повернуться — ах, и на эту еще? тему, что мне как ветром волосы ото лба сняло — через четверть часа пути с ней уж не меньше десятилетия с плеч. Десятилетия!..

Как девчонки, мы шли с ней, перейдя с выращиванья помидоров на все огородное дело, с него — на природу, на детей, на детское воспитанье... Удивительно было во всем этом — наши взгляды, и не они, а манера отношения к вещам! Эта легкость зажечься от схваченного на лету слова, от упоминанья о чем-то, о ком-то! Чувство дружества ко всем явлениям, с которыми сшибал день; ее желанье учиться английскому. Новизна жизни не в городе (линотипистка в «Гудке»), открыванье новизны увлекательных тем, где другие вещают нос! Да как же я до сих пор жила во всем этом — одна? Без нее, сияющей, отдающей себя в помощь любому! Ее воспитание внука (ему пятый год) было мне о Рите — мечтой. Страсть к музыке. Рояля нет? Она будет учить Витю на мандолине (играет один человек, она умолит его давать ребенку уроки!). Помидорами оплатит! Каждый ее помидор — великан! Идем, счастливые, в каком-то ветру юности, — а шаг моей спутницы — легкий, как у цыганки, но те ступнями стелются. А в этом шаге есть отроческая взлетность — от избытка сил! Она — бабушка? Я смеюсь, как давно не смеялась. Да, с ней живет внук! Дочь учится и ей переслала мальчика. Витя, Рита — еще до того как дети наших детей встретились, в них и о них перекликнулись два человеческих опыта, две убежденности: закалка воли. Закалка тела (обтирание, обливание, хождение босиком). Одна из основ питания — овес. Важность воздуха. Важность сна (сон на воздухе). Бабушка Вити это осуществляет: ее внук спит днем в сенях, на морозе. (Важно следить, чтоб не раскрывал рта, дышал носом!) Бабы злословили: заморозить хочет ребенка! Можно жить без денег, если своими руками поднять целину! Как я! Капуста, морковь без

химикалий, один фосфор и бережная обработка каждой горстки земли. Помидоры вдвое, втрое больше обычных. Часть пола ее пока еще земляная, ничего, к зиме наложит там досок, понемногу их достает. В избе пока — ничего: топчан и стол. Не важно! Разве в годы после тех лет, когда фашисты жгли в печах толпы людей, можно думать о неудобствах жизни? «Говорите, заморозили помидоры? Научу, приду, покажу, сделаю!..» И вот уже мы в нашей избе, знакомлю с Ниной, и вот уж беседа врасос, смех, радость, и вот уж убегает она, сказав, где живет, — через десять минут надо подымать внука, живет по режиму — разве можно ребенку жить кое-как? И исчезла, наполнив нас радостью бытия! Имя осталось: Полина!

Пришла зима. Так мелко, что целые стены снега! Нина и Геля разгребали, чтоб хоть как-нибудь пройти. А он валит и валит. Был вечер. Нина шла за ворота — к дровам, что ли? Видит — справа — холмик. Не было! Что такое? Остановилась. Шагнула в снег всем валенком, наклонилась. Подозрение ее взяло! Копнула. А потом как закричит: «Генка!» И пошла разгребать, и разгребла — человека! Пьяный. С ее работы парень. Мать на соседней улице живет. К ней ли шел? Гена вышел на зов Нины, и вдвоем с Ниной поволокли парня до матери. Ох, не выйди она за ворота — и не встать бы ему никогда, не спасла бы и водка — пролежать ночь в такой пуховой постели...

Человека спасти удалось! А гибель кошек в нашем доме продолжалась. Нина снова кошку. Тигровую. Жила, росла, свыклась с нами, мы уже успокоились. Какое же горе было, когда мы увидели нашу тигровочку, вылезавшую из подполья! Вскоре она заболела: не ела, глядела в одну точку, и с ней сделался паралич. Ничего не помогло.

Что за проклятье жило в этом подполье!

В Сибири прошло три года детсада, для Риты и нас — незаметно, и вдруг «грянул гром в ясном небе»: когда Рите исполнилось 7 лет, неожиданно, среди года ей сказали, что ее время там кончилось, что она больше не будет ходить в детсад! Отчаянье ее — как рассказать? Оно было по силе — взрослое, не детскими слезами безотчетности — от кого-то обретенной обиды она плакала. Разлука, встреча с разлукой, как при отъезде с Олюшкой (так она звала Ольгу Семеновну), пала на нее. В один из первых дней мы шли с ней через лес, я что-то рассказывала. Вдруг Рита остановилась. Перестав слушать, она с криком рухнула в беспросветное горе: слева от нас за деревьями показалось очертанье ее детского сада. «Было» — «прошло» — этого стерпеть не могла.

Как Витя спит! Его бабушка, молодая, синеглазая, большеглазая, над ним наклонилась; думаете, любитесь? Нашли у нее время — терять! Радуетесь здоровью его — закалке, тому, что она дает ему. На всю жизнь.

Вы понимаете, что это — на всю жизнь быть закаленным? Веселый рот расплывается в улыбке... Сияет! Витя спит во всю мочь пятилетней своей жизни, укутанный, на морозе!

Село потрясено вестью: Полтава, Ленька Полтава, вернулся! Жена, дети — плачут... Он (вина в рот не берущий — озорник на слова, но трезвенник) мрачней тучи. Великолепные глаза гневно сверкают:

— *Мать* не приняла, понимаете? — Он это говорит каждому встречному. — Жена, мол, ждала тебя, а ты с оравой детей вернулся, с другою... А я той писал: не жди! (Три года с ней жили, — да, я семью строил, а какая семья без детей?) Я до отъезда еще с ней расходился! Да добро бы — она! А то мать! Куда я теперь? Разорен... Дом был, корова

была...

Поселился он рядом с нами в темной лачуге, пошел в артель, начал лес вывозить, заново дом строить... Все жалели его!

Но работал он — зверски. С утра до ночи стучал топором. Лют был в горе — и лют на работу. Дом рос, как только в сказке растут.

На маслозаводе, обнаружив хищение, заведующая пригрозила своим подчиненным, что она доведет до сведения об их проделках — в область. (Это мы узнали в виде слуха — она в пылу происшедшего рассказала об этом кому-то.) А через несколько дней городок был потрясен вестью о самоубийстве заведующей. Вместе с выехавшим на место происшествия начальством приехал брат самоубийцы, старший милиционер. Вечером в день приезда он пришел на квартиру к одной из ее помощниц — слушать ее рассказ о всех обстоятельствах происшедшего. Расстроенный, он стоял у двери, облокотясь о косяк двери, и слушал рассказ работницы маслозавода, изредка задавая вопрос. Застал он ее готовившую ужин. Она говорила и чистила картошку, бросала очистки в ведро. Чистила и бросала... Прослушав взволнованный рассказ, гость внезапно обратился к ней:

— Ну а теперь передайте мне это ведро!

Женщина, пораженная его повелительным тоном, попыталась было спросить о причине его требования. Но он взял у нее из рук ведро. Под грудой картофельных очисток лежали на дне ведра кровавые тряпки — противоречие с рассказом о том, что погибшая — повесилась. Милиционер арестовал служащую. На следствии она созналась, так же как и вторая помощница: ими была убита его сестра, затем инсценировано самоубийство. Сколько лет заключения получили преступницы, я не помню. История эта надолго смутила мир села.

Но остался вопрос: как же врачи-то удостоверили справкой ложный факт смерти от удушья заведующей маслозаводом? Ответ напрашивался невеселый. Доктор Р. бы такую справку не дал...

У наших соседей слева собирались колоть свинью. Слышались голоса.

— Ну, я пошел за ножом! — сказал баском племянник хозяина.

Женский голос кричал вслед парню:

— К тете Паше сходи, нет ли? У Мироновых — тупой... Слышишь?

— Не глухой. «Сходи, сходи»...

Плечо толкнуло сенную дверь, та лениво распахнула мне навстречу низкую сибирскую пасть. В эту минуту я входила в их двор — отдать сито.

— И что у тебя за манера, Афанасий, толкать человека?

— Толка-ать еще! Да кто вас толкает, кому вы нужны?

— Дурак ты...

— Зато вы умная...

Ветер рвал голый тополь, трепал ледяные ягодные кусты.

Никого. Озираясь, я открыла тяжелую дверь в стайку. Он шел, хрюкая, на открывшийся мутный свет двора; свиная бесшея голова пыталась подняться. Смешной в детских книжках пятачок был почти грозен в ледяной темнице, в неотвратимую предсмертную ночь. Но он шел и нюхал — и то, отчего я пришла сюда, — боль смерти смолкла вдруг перед болью жизни: голодный, он ждал пищу. Он не знал, что завтра — убой, перед убоем не полагается есть (чтобы легче было колоть? Не знаю — не свиновод).

Но и эта боль — о его, виновника завтрашнего торжества, невинном незнании, что перед смертью свинью держат в голоде, сменялась болью другой, близлежащей: он привычно встречал, я шла с пустыми руками и несла в хлев — невесомую свою жалость, бесплодную, как ноябрьский лед под ногой!

И меня знобило стыдом. Ибо уже было поздно — исправить было нельзя: сейчас вернется Афонька, миг упущен...

Кто подумал бы, что и эту волну боли перегонит другая? А она уже была тут: он топтался на коротких ногах по морозному хрусту, и он был не свинья, а дикобраз, еж или еще кто-то, потому что щетина на нем (спина, голова, уши, ресницы) была обведена густым инеем, как узор чугунных садовых решеток. Вместо щетины на нем был — лед. Тот мороз, из-за коего его решили прирезать: а ну как замерзнет? в недоотепленной стайке? Мороз рухнул сразу. Первая, верхняя стадия замерзания была налицо. Глубже мерзнуть нынче — мешал жар голода, страсть жевать, жить — и именно ей было, именно в эту ночь отказано в пище. Ровно на те часы, в которые жажда жить, сила голода будет бороться мороз, — до часа убоя. Крючок надевался на петлю точно: неустыдимый человеческий расчет! От пышности инея на щетинке он казался гротескным свиным чучелом на карнавале. Свиной саван!

Он был бел, как маленький белый медведь.

Сраженная зрелищем, забыв страх, что меня тут застанут, в чужом хлеву, забыв про раскрытую дверь, я присела возле него, переставшего топотать, тяжело неподвижного, ледяного памятника свинье.

Буря хлестала нас в широкие щели острой сибирской изморозью. Он мотнул мордой, мигнул — словно ткнул меня свиными седыми ресницами. Он молил об охапке соломы, в которую до сих пор, в более теплые ночи, — зарывался.

Вокруг был заледенелый навоз. В эту первую лютую ночь солому не принесли, потому что это была его последняя ночь: авось не замерзнет! Охапку соломы, уже снятую, подняли вилами на чердак, от ветра.

На корточках на ледяной коросте, в шубе, от тоски или от холода меня трясло. Зуб не попадал на зуб.

— Я тоже умру, Свин... — еле выговорила я, не смея тронуть лед его щетинки.

Он тихонечко ее потряс, и она зазвенела.

Внезапно стукнуло. Я шарахнулась вбок, и за мной к двери метнулась свинья. В страхе, что выпущу чужую свинью, я, выскакивая, нажала дверью на свиное тело, борясь с ним. Грубость этого ошарашила меня позором.

Не ища ему оправдания, я летела в дом. Не мой голос кричал в жаркий сон женщины: «Навоз как стекло! В стайке бушует! Нельзя оставлять живое животное...»

— *Замерзает!*.. — кричал с разбегу из сна проснувшийся голос старухи. — Утром колоть будем! Ишь, *сердобольная!* — мстя за нарушенный жар сна.

Ты одеяло сбросила, тебе жарко...

Дуэт длился:

— Ты за ним не убираешь и не в свое дело не...

— Обледенел! Понимаешь? Хоть маленькую охапку!

— Ничего я не понимаю!

— Ты все понимаешь! Солома у тебя есть? Ну хоть тряпье, мешки...

— Мешки??. Ишь что выдумала! Чтоб она их в навоз втоптала? Нет у меня для свиньи мешков!

Старушечье одеяло укутывалось. Говорить было не с кем. Но угрожающей змеей поднялся мой победный голос:

— А тот мой мешок, что я под мох дочери твоей давала? Где он?

Притворный или естественный (что гаже — неведомо), шел тоненький свист храпа.

Была не была! Я нашла мешок ощупью в темной кладовке, ликуя, что большой, толстый (уехавшая из Сибири хорошая женщина подарила: та бы не бросила так животное, ох, та... — и пьяная радостью, что отняла, что есть где-то та Лена, моя, я несла в стайку мешок, жалкую помощь мою, точно несла жизнь).

Но тот, кто бы мог осудить суету торжества о такой малости, стоял у двери — ждал? — и его скромность принять этот нищий дар была величава. Он дал себя накрыть, словно отродясь ходил в попоне, и тряхнул под ней всем своим льдом сильно, но осторожно, как бы понимая, что попону нельзя уронить.

Он хрюкал и подымал ко мне бесшеюю голову: он что-то говорил, и я говорила что-то — я бы, кажется, заночевала тут с ним...

Яростный ветер рвал и кидал дверь; по двору шли, круша лед. Я успела ухватить дверь; парень прошел, не заметив.

— Говорил, нечего к людям ходить загодя! — кричал он уснувшей тетке. — Утром дадут нож...

Я нащупала в кармане корки, обломок овсяной лепешки и бросила жалкую кучку на мерзлый навоз перед свиной мордой.

И как каждую ночь, когда все спят и я выхожу отдохнуть от них, от себя, от всего, — я стою и смотрю в небо, на голые сучья, на далекие огоньки на земле.

Мы больше не брали кошек! Но однажды я шла по лесу и увидела, как мальчишки мучают кошечку: посадив ее в яму, где была вода, они сталкивали ее туда палками, а она кричала и цеплялась за узенькую полоску земли у спуска. Я бросилась на зверят, как лев. Но тут же мне стало ясно, что сама я достать кошку из глубокой ямы смогла бы, только круто наклонив голову, корпусом влезши вовнутрь, под навес земли; а моему глазу с испорченной сетчаткой такой наклон — прилив крови — был запрещен, потому что мог дать слепоту. Что было делать? Не знаю, в какой роли стояла возле мальчишек девочка лет десяти, но времени не было:

— Гады мальчишки, — сказала я ей, — противно смотреть на них! А ты — девочка хорошая. — И гипнотическим тоном: — Тебе жаль кошку! Я буду тебя держать, а ты нагнись и достань ее. — И, видя, что она колеблется: — Ты со мной дойдешь домой, и я тебе дам денежек...

Девочка соскользнула в яму, я крепко ее держала — и уж в ее руках маленький испуганный зверек, тигровый, как Чернобурик, и мокрый.

Кошка дрожала и цеплялась за руки девочки — я еле ее отцепила. Куда же было девать ее? Оставить здесь — мальчишки, только от вида моей палки отошедшие, снова ее заберут! Как я ненавидела в этот миг этих детей! (И почему многие считают нормой эту «возрастную» жестокость у мальчишек? Я бы воспитывала их «примером»: повтореньем над каждым из них того, чем они хотели мучить животное, — это, может быть, помогло бы...) Мы шли с мокрой беднягой — девочка и я. И как трогательно контрастно с только что виденным зверством — мне было неожиданно узнать, что девочка шла со мной вовсе не за деньгами: денег она не взяла. Значит, прошла далеко — просто так, за компанию! Мне стало весело жить... Она поглядела, как я закутала кошку, поболтала с Ритой, долго

не хотела конфету — и ушла.

Слишком ли вымокла кошечка — отчего заболела? В подполье, кажется, не спускалась, но и ее мы не выходили.

ГЛАВА 28. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИТИ. КРОЛЯ. ЕЩЕ ВЕСНА

День рождения у Вити! Вите шесть лет! Уже несколько недель учился он играть на мандолине у пожилого музыканта (теперь он работает агентом Госстраха). Мальчик имеет способности, его молодая бабушка сияет. К дню шестилетия она испекла из овсяной муки (единственно сейчас доступной) сладкий пирожок с повидлом и принесла, постояв в очереди, полкило леденцов — праздник!

Но самое главное угощение — не это! А то, что Витя, пригласив в гости человек шесть соседских ребят, сыграет им на мандолине все свои пьески (устают маленькие пальцы прижимать твердые струны, и хоть терпит, не жалуется, учится силе воли — настоящий бабушкин внук! — но решено концерт его мандолинный сделать в двух отделениях!). Приглашены и мы с Ниной, и Рита, готовим жалобные подарочки. Витя — музыкант будет? Так пусть не забудет потом свой первый концерт в избышке с прямо на землю положенными досками, с овсяным повидловым пирожком!

Но не забудем и мы, как сидит, только что не пыхтя, маленький, крепкий, круглоголовый Витя, большелобый, сосредоточенный, крепко держа большую для него мандолину, и как серебряно частит послушный ему медиатор, как мелькают по грифу уверенные — и все же волнуются! — пальчики, и как слушают, раскрыв рты, его товарищи по играм мальчишеским — чудо его игры!

— Это что, Неаполитанская песня Чайковского? — шепчу я Полине Михайловне.

Нина смеется, а семилетняя Рита очень задумалась... О чем?

Весна... Опять весна! Пятая в нашем селе. И зачем их считать? Так и пойдут они одна за другой, пока — кончатся... Это не мысль — вздох. А о чем? Разве мне плохо тут? Мне тут — прекрасно, столько полюбилося всего, чего совсем не знала. Теперь, если в городе жить, еле бы доживала до весны, самой ранней, — уезжать, сажать и стеречь, как растет хоть несколько грядок, радоваться... Что же я делала все те весны, до?..

Соседи наши разводили кроликов. Я брала у них молоко. Спешить мне теперь было некуда. Сяду, любуюсь кроликами. Один из них был как-то особенно серебряно-бел. Он сидел в сенях среди подмороженных кабачков, брюкв, реп, меж кочанов и листов капусты. Это был последний из плеяды кроликов (надоели!), на шкурки коих с пункта несли муку, сахар, пекли сладкую сдобу, хваля ее и нежное кроличье мясо, но жалуясь на суету ухода.

Их забывали кормить (поить — еще чаще), но кроли как-то жили, бегали легким топотком по чердаку, плодились, росли и весело, деловито, жадно поедали все, что попадало.

Этот последний был — совсем белый. Он шнырял, маленький дух, меж загнувшихся листьев гигантских зеленых капустных роз, и, исчезая и появляясь с кинематографической скоростью, успевал ослепительно вспыхнуть на солнце — почти просиять, — и кувыркался в тень, как в воду. Что-то грыз, по-беличьи быстро-быстро водя подвижными ноздрями, клубком укатывался за рыжую тыкву, шуршал зеленью и нырял, сверкая на солнце то мячиком хвоста, то длинным ухом. Он жил восторженной, почти

вдохновенной жизнью среди вдруг доставшегося изобилия овощей, в шумном от его бега, душистом кроличьем раю.

Распахнув дверь в синий осенний двор, в мечущийся в солнце ветер, я нагнулась к белому шару. Испугавшись меня или ворвавшегося солнца, кролик забился в угол, но я стояла и тянула морковку, и дрожь радости оказалась сильнее дрожи страха: ушастый пушистый мяч перекатился вперед, засияв в луче, уши заходили, и жадный пугливый нос потянулся к любимому овощу. Он получил его, уронил, испугался, умчался, спрятался за кочан, с почти кошачьей резвостью примчался вновь к морковке и, наконец, занялся ею с предельной поглощенностью, двигая лапками и ушами, как вязальщица — спицами.

Я стояла и любовалась умильной красотой волшебного существа с рубиновыми глазами. Час был так добросолнечен, ветер рвал с веревок белье, как в детстве, на Оке, в Тарусе, маленький тролль был так праздничен, как картинка в сказках о Рюбецале, и все это так было похоже на натюрморт старого мастера, что, прислонясь к косяку, я бездумно благодарила за миг передышки, радуясь кролику, как он радовался морковке. (Почему я не принесла ему их целую грудку, не устроила ему — пир?) Так в усталости труда, впечатлений и возраста — человек недодумывает, недочувствует...

— Кролинька, — сказала я, протянув руку к царьку овощей. Мне хотелось погладить его, как котенка, но, непривычный к ласке, он резиново отпрянул назад, испугавшись до самых недр кроличьих, и я поспешила уйти, чтобы не стать врагом.

На другой день было пасмурно, и, когда я с пустой крынкой вошла в соседский дом, пробираясь к хозяйке мимо печи, таза, где мокли чулки, нагибаясь под развешанное белье, я наткнулась на ее сына. Мальчик лет одиннадцати стучал молотком по гвоздю, от которого шла бечевка, пахло луком, и — так бывает — внезапная тоскливая скука обуяла меня. Я беспомощно оглянулась, потянула воздух.

Чад! — сказала я, шагая мимо печки. — Ты, верно, сильно задвижку задвинул...

Напевая, мальчик не давал мне дорогу, поправляя что-то у гвоздя, и не он, а другой кто-то тронул меня за плечо. Я повернула голову, и — задвижка, чад, усталость — все остановилось.

Очень длинно и совсем неподвижно, очень узко, непомерно вытянув вверх — задние, вниз — передние ножки, подведя маленький, худой красный живот под синеватые ребра, висел вниз головой голый остов, и кровь капала в таз на его внутренности, принятые мной, по слабому зрению, за чулки.

Он был очень худой, легкий, пустой, весь из косточек и глянцевиной мертвой кожи, а пушистость и белизна, нацело и навеки отнятые, висели поодаль, чтобы их не запачкать кровью, и над ними, растягивая их булавками и гвоздиками, старался, напевая песенку, мальчик.

Ноги рванулись, но глаза не пускали, потому что, опрокинувшись с гвоздя вниз легкой тяжестью неживого тела, тот трогал мое плечо голой кровавой мордочкой, и очень выпуклые глаза его, с выкаченным беловатым ободом, столько знающие, что уже молчали обо всем, глядели на меня без взгляда. И я не смела уйти.

— Кроля, — сказала я одними губами, одним вздымавшимся горем — и ноги вдруг оторвались от пола, шагнули и бросились прочь.

И много ли прошло времени, как опять — «на ловца и зверь бежит» — я услышала кошачий жалобный крик с конца огорода, что простирался позади нашего. Там живет пожилой человек, взявший себе в жены молоденькую хорошенькую девушку: мать ее, с которой она приехала еще девочкой, живет в двух километрах в поселке, где работает.

Таня — хозяйкой в богатом доме (мы заходим к ним, берем молока), родила ему сына — весь в него, и он играет с сынишкой. Но у Тани заплаканные глаза, и мать ее — в тревоге о дочери: не записывается с ее красавицей дочкой противный богач. Вот из их огорода — плач кошачий. Напугала ли собака цепная? Слышу близящиеся звуки с содроганием: не могу больше кошек, их смертей! Но к ночи заглодало, ветер рвет еще голые ветки, куда денется бедный маленький кот? Чей? Точно зная мои колебания, котик бежит (по не вспаханной еще земле, кувыркается и плачет) — ко мне. Беру на руки. Но, и попав на руки, не мурлычет, не успокаивается, кричит. И когда я, принеся его в дом, ставлю на пол — он ходит как-то странно, все кругом. Ночью кричит, мешает спать. Явно — больной. Терпим день, терпим два. Ест плохо и кружится. Со вздохом (в который раз!) я иду в ветеринарку. Фельдшер сказал, что что-то безнадежное с мозгом. Мучается, не поправится. Усыпить надо! И пришлось согласиться. («Все-таки как-то живет — и убить? Но не сможет жить, раз такое...») Ластится и кричит. Глажу — не глядя. Ухожу со стыдом, как вор...

Процвела весна, леском встал огород, шелестя каймой кукуруз вдоль плетня: помогала нашим помидорам наш друг Полина. Увлелась она уже не первый год способом выведения помидоров и трудом рук и колдовством фосфора выводила такие громады румяные, что твой апорт! Пожалуй, что одними помидорами и питалась — и книгами.

Жила впроголодь; весело, заботливо — лучший кусок — внуку.

Однажды, никому не сказав, Витя отправился местную школу — к директору.

— Мне шесть лет, — сказал он тому, удивленно раскрывшему дверь такому посетителю, — но я умею читать и пишу печатными буквами. Мне скучно учиться одному, без ребят! Примите меня в школу!

Может быть, умиление и тронуло сердце директора, но выше подобных чувств — установление Министерства просвещения, и он был принужден отказать Вите.

Гневно уходил посетитель — плотный, круглоголовый, светловолосый мальчуган с большим лбом и отважными голубыми глазами. Уходя он сказал директору что-то поучительное и даже, быть может, таинственное (запомнилось нечто вроде: «Вам же хуже!..») и гордо прошептал по улицам, с двойным воинственным пылом поглядывая на детей.

В эти годы он любил сжимать — изо всех сил — кулак и поднимать его самозабвенно. При этом он изрекал неизменно одно и то же:

— Как дам... (кому — не уточнял).

Глаза его были сощурены, и брезжились ему стрелы и лук.

ГЛАВА 29. СЕДЬМАЯ ВЕСНА. БЕЛЯНА. СМЕРТЬ ВРАЧА

В дни получек от Верочки, Лёры или пособия моего я позволяла себе пообедать в столовой. Шли нам по-прежнему и подарки детям, и обувь, и платья, и курточки, и коробки конфет, даже — финики... (Косточки их я потом сунула в горшок с алоэ, и у меня выросли пять финиковых пальмочек.) Да, друзья — не забывали! Их посылки и письма, жданные и неожиданные деньги...

Растворилась в воздухе «Feinfühlung»? вздох. А ты? Колышки — позабыла?

Как и в первой моей избушке, мне перед окном вбили столбики выше

человеческого роста, и на них вешала тускло-рыжую, грубого рядна террасу, — так я повторила это и здесь. В солнце у нас была тень, мы с Ритой вылезали туда из нашего с ней окошка, пили чай, говоря по-английски. (Годы спустя эту занавеску я засунула лютой зимой в павлодарскую собачью будку — нашему дорогому Джульбарсу. Как он был рад! Там морозы ниже 40°...)

Доктор наш, незабываемый Тобиас Яковлевич! Дверь в перевязочную приоткрыта, я жду в очереди в коридоре. Он сидит в белом халате, худой старик, еще темноволосый, с проседью, а перед ним сидит деревенская старушка, сгорбленная, в чем душа держится, и, глядя в ее сморщенное личико: «Так, так. Понимаю. А не бывало ли с вами?..» И, весь уйдя в дебри ее болезней, он всматривается, вслушивается в пациентку, эту древнюю больную старушку, душу отдавая, чтобы хоть сколько-нибудь ей помочь. Призывая весь опыт свой, все книги изученные, советы всех своих учителей... Достойный их ученик, могиканин! Ведь у него таких, как он, училось следующее поколение! Отчего же тоже здешняя женщина-врач, почти средних лет, в другом кабинете, ведет свой прием в совсем другом стиле? Мне, шестидесятилетней, спешно выписывая рецепт: «Три раза в день по порошку. Эмфизема легких у вас, бабушка! Старческое. — И, бегло окинув себя взглядом в зеркальце, быстрым привычным жестом полунаклоненное в открытой сумочке: — Следующий!». (И ему скажет: «Не помогает? Ну что вы хотите? Другого сердца — не вставим!»)

И вот доктор Райт перестал выходить на работу. Через две недели случайно мне встретился.

— Я слыхала, что-то легочное у вас? Воспаление было?

И его ответ уклончиво — о себе — лаконичный:

— Хуже... В город к специалисту еду...

Была осень. Рита пошла в первый класс школы. Однажды Нина, войдя в дом — с работы, молча поставила на пол что-то белое, крошечное, не больше трех вершков. Белую как снег!

— Ну, берем, что ли? Может, убережем от куторок? Ведь мыши же донимают!

И взяли... Как-то всех сразу кошек наших погибших напоминала Беяна. Мы не чаяли в ней души. Одна из всех не лазила она в подполье, и мы были спокойны: эта не заболит! Она тоже носилась по постелям — и на стену, гремела кухонной утварью, кувыркалась в солнечных лучах — и к весне стала почти взрослой кошкой. Совсем белая, без отметки. И тогда появился у нас в доме кот: Вася, совсем черный. Большой, ширококостный, но не пышный, потому что бродяга. Как ни приучали — жить не пошел: ходил в гости. Он приходил — вдруг, в окно и ложился к нам спать.

Ушей у него не было: отморозил, должно быть: невысокие полукружия у начала ушей. Мурлыкать не умел — а шептал. Засыпал сразу, наваясь на грудь, живот, где попало. Был ужасно нежен, до умиленья! Никогда не сердился. А с Беяной иногда спали в обнимку — белая, черный; мягкие, как гусеницы. И уют от них в доме был, как будто сел у камина, и греешься, и сказку читаешь, где у Бабы Яги — всегда кошки.

Стояли теплые летние ночи, и шелестели наши тополя. Просыпалась оттого, что на меня из окна прыгнул Вася безухий, черный как сажа, из лунного жерла ночи; морду — в ноги, хвостом покрывлся, уж спит. А в ногах Ритиной постели потягивается Беяна, тянет передние длинные лапы, и на них — голову — белая, как крахмал...

Я не помню, когда и как заболела Беляна. И не хочу длить рассказ. Она болела терпеливо, покорно, сразу став взрослой, печальной. Не ела, лежала. Потом начались судороги... Я понесла ее к другому ветфельдшеру, жившему недалеко от нас, сделали укол. Мы принесли лекарство. Беляна боролась за жизнь. И как-то прислушивалась к болезни... Терпела. Кротко дотерпела до конца. Две белые лапки свои она вытянула у мордочки — и не то стон, не то вздох... Как удивительно прощаются животные — с жизнью: без ропота, точно знают: пришел час!

Приходил ли после Беляны черный Вася? Кажется, он исчез.

Мы закопали Беляну в коробке, чтоб земля не сразу — на кошеньку. Мы знали, что в этот дом мы больше не возьмем кошек.

...Я пошла навестить жену уехавшего Тобиаса Яковлевича. Она была в тревоге, но держалась достойно. На работе в больнице (она была старшей сестрой) исполняла свои обязанности, как обычно. В этот вечер она казалась спокойнее: муж сказал ей по телефону, что предстоит операция, что несколько не боится, что она необходима, не опасна; «Не бойся, пожалуйста, все будет в порядке!». Я ободряла ее. Мы расстались. Девушка, помогавшая ей по хозяйству, вышла за мною во двор. Оглянувшись назад, не идет ли хозяйка за нами, она приложила палец к губам. И горячим беззвучным шепотом:

— Рак...

— О-о!.. — только смогла я.

Что-то в сенях застучало, девушка бросилась в дом.

Я принесла домой эту страшную вест. Нина не знала, пойти ли к жене, побыть с ней на всякий случай или... я посоветовала не идти: может быть, усталая, уснет... Ясно, что раз девушка знает это, — то из больницы. И что, стало быть, от жены пока решено скрыть. Как ужасно: убеждают, что все хорошо, скрывают страшное слово, а потом как? А если неудачная операция и его привезут...

На другой день в больнице в присутствии всех врачей жене сообщили: ее муж скончался на операционном столе до операции. От шока.

Так, может быть, и не сказали ей тогда диагноз его болезни. На похоронах Тобиаса Яковлевича трудно было подойти к кладбищу: толпа провожала его... Не хватает духу писать о том, что было с женой.

...Нина, простудясь, пошла в амбулаторию. Принимала прилетевшая из области женщина-врач, народу привалило множество. Вернувшись, Нина легла, я пошла в аптеку заказать ей лекарство. Принеся его вечером и дав Нине воды запить его, я услышала решительно, что такого лекарства она больше принимать не будет! Я укорила ее за капризность и убедила продолжать принимать.

— Ведь эта врач столько лет училась, она же понимает, что дает!

Проглотив и отплеываясь, Нина закричала:

— Так пусть она сама его и пьет, раз понимает! А мне не надо такого лекарства, от него сразу — тошнит!

— А-а, это, может быть, Доверовы порошки, — сказала я, — они — да, иногда тошноту вызывают, я слыхала. Дай мне рецепт, посмотри!.. Позволь, что это? Больной Демидовой! Это же не твой рецепт! А я-то не посмотрела...

— Не мой? Ну и хорошо, что не мой, — отвечала Нина, еще содрогааясь от проглоченного, — мне такого не надо! Это она меня с той женщиной перепутала! С ней говорит, а мне рецепт подает... Я, говорит, на самолет спешу...

— Бессовестная! — с аппетитом выговаривая слово, воскликнула Рита.

Я помчалась в аптеку. На мое счастье, я встретила по пути Дору Исааковну, лаборантку.

— Демидова? Ее рецепт — у вас? Мы же ее готовим на операцию язвы желудка! В область ее направляем! А у Нины, говорите, бронхит? Я Демидову видела, она еще не заказала лекарства. Сдайте ее рецепт аптекарше и скажите, чтобы, когда придет Демидова, у нее отобрать ваш рецепт! Обидно! Ей-то «cito» написано, а Нине сегодня уже не сделают! Нет, давайте мне рецепт и лекарство, я сама это все сделаю. Зайду к Демидовой, скажу, чтоб она сейчас же шла в аптеку, а аптекаршу попрошу и вам сделать — зайдите вечером перед закрытием, будет Нине лекарство... — И Дора Исааковна заспешила в аптеку...

Она тоже часто бывала в домике над Баксой, нами прозванном «дача на Рейне», у Тони и Капы. Дора Исааковна не раз подавала Капе медицинскую помощь, совет и, как я, отдыхала часок после трудов дня в уютном мирке сестер. Капа, поджидая из артели Тоню, допекала что-то в духовке и готовила чай или кофе, а закат стелил длинные алые полосы, отраженные в подражавшей Рейну Баксе, и нам оживали «Алые паруса» Грина, — все их ждали тогда...

Да, там, откуда мы приехали, налаживаться. И мы получали возможность уехать. И транспорт и материальные условия были трудны. И все-таки многие уезжали. Среди поднявшихся ехать была — еще ранее Юрова и Таисии Еремеевны — и «кошкина мама». Она назначила на свою избушку цену, которую ей не давали, — восемьсот, и ни копейки меньше. Предлагали пятьсот. Возмущась, она на них не согласилась и, уезжая, бросила — кому на разор? — свое лесное жильё.

— Лучше уеду без копейки, чем дать себя эксплуатировать! — сказала она.

— Как можно быть такой принципиальной? — удивлялись ей вслед.

Но на аэродроме ее — с корзинами кошек — не приняли. Мужественно вернувшись, она тотчас же пошла к начальнику, Т-ну, с выписками из соответствующих пунктов законоположений. Доказав свое право ездить и летать — с животными, она получила специальное распоряжение Т-на о ее кошках и улетела с ними навсегда из села нашего в синий осенний день. Кто разграбил ее избушку? Но можно ли назвать разграблением унесение из брошенного в лесу, ни на что не похожего жилья — печной плиты и колосников, кошачьего столика и оконной рамы маленького, там уже ненужного, окошка?

Годы спустя до нас дошла весть, что Ольгу Захаровну встретили в центре Москвы оживленную и в лаковых туфельках. И почти следом шла весть: заворот кишок — отказ делать операцию — смерть в больнице. И маленький кошачий коллектив ее детей разбежался, попав в многотрудную жизнь бродячих котов...

ГЛАВА 30. ПРИЕЗД СЫНА. ДВЕ СМЕРТИ

Сын собирался к нам. Путь был неблизок. Рита, помнившая отца в раннем ее детстве, ждала его с замиранием сердца.

Лето кончалось. Он приехал, по моде тех лет — с бородкой, изменившийся, возмужавший, навез с трудом наработанных нам подарков. Помню их встречу с Леной Полтавой — так друг другу понравились!

Иду с сыном на улицу Куйбышева, еле уломав его: не понимал зачем! В доме столько дела, помочь Нине, к чему это? Идти туда, где нечего делать? Увидев, что

огорчена, пошел. Но, усталый и взрослый, он шел, не участвуя. Чтоб не обидеть. *Ему* это было не надо: какая-то *прошлая* (уж переделывают ее) избушка, какие-то прежние соседи... Я шла убитая. Одной благодарностью что — пошел. Пошел *все-таки!* Идет — для меня. Но душой далек от моих тут четырех лет. Приехавший, чтоб помочь — в *настоящем!*

Сын уехал, оставив в сердце дочери — обожание. Обещал скорее устроиться в городе, куда бы мог принять нас всех; советовал свертывать хозяйство, продать дом с выращенным огородом и готовиться к переезду в Башкирию, в новостроящийся городок Салават, где он надеялся прочно обосноваться. Сибирь наша — кончалась...

Никто тут не знал, откуда мой сын приехал. Чудом к сроку его освобождения Илья Эренбург прислал мне — выхлопотал у Союза писателей — единовременное пособие в пятьсот рублей. Я поспешила их переслать сыну. С их помощью он из лагерника превратился в джентльмена — костюм, шляпа, обувь. Кто бы принял его на работу в лагерном облачении? Присланное мне старое мужское из серого драпа, английского, пальто он сам — золотые руки! — перелицевал, лишь петли не смог обметать, отдал портному. И явился к нам в блеске своих сорока лет.

Я несла кошку Беляну к ветфельдшеру и встретила Леню Полтаву, красавца и умника, водкой не разоряющего жену и трех своих девочек, глотающего только книги. Словесный озорник и задира, неотделимый от крепких выражений. Его карие глаза лукавы, смуглое волевое лицо красиво, кудри — что у лорда Байрона.

— Да вот бревна для сеней кантовать начал!

— Дом-то кончил?

— Заходите смотреть! Такого дома во всей Пихтовке...

— Ладно, не хвастайся. Лучше Беляну мою пожалей — и она заболела!

— А их лечить не умеете! За хвост — и об угол дома! К ветфельдшеру небось?

Не слушая (Леонид добр — притворяется):

— Заходите попоздней вечером, потолкуем.

— Зайду...

Крепко я с ним сдружилась. Жена его, Вера, рассказывала, что, к нам собираясь, говорил: «К невесте иду!»

За бесценку продал отличный дом, плод своих рук, и корову (утварь разбросал — «домой еду!» — даром!) — и теперь, обеднев дотла, живя в низкой тесной хибаре, лихорадочно достраивал новый дом — лес близко! — отчего жил с семьей впроголодь. Вера заработать не могла — от детей да огорода куда пойдешь? И — беременная...

Я входила в кедрач. Высота, ели, запах — как не воздух будто с ног бьет! Снег внизу и по лапам веток; уже весенняя синева с облаками. Тихо... В просторном лесном бараке я раскутала дремавшую Беляну, понесла ее к фельдшеру. А он, Петр Иванов, шел навстречу, и что-то необычайное было в его походке: точно шел не человек, а что-то легкое, эластичное: он шел — а его уносило, и он настаивал на направлении, но не грубо, как пьяные, а легко, резиново, — у него будто не было весу! Пьян — не был, сразу видно. Понял мой взгляд.

— Хлоралгидрату принял, — сказал он с виноватой улыбкой, — хорошо, знаете, все забываете... От дому куда поедешь? Чтоб как Полтава — назад? Кошечка заболела?

Он дал мне лекарство.

— А знаете, это дело опасно, — сказала я ему, — будьте осторожны, больше — не

принимайте! Один случай я знаю — чуть не умер лекпом!

— Откачали?

— Откачали-то откачали, да долго болел...

Он вдруг остановил меня (я уходила):

— Пойдите, хочу по книге проверить, не много ли сказал дозировку. У нас о кошках — нет, ну, я по собаке взгляну и — сбавлю...

И он пошел через барак, и его относил, невесомость его шагов — поражала.

— Заходите, — сказал он мне. На добром пожилом лице светились ясные глаза. — Почему не заходите? Покажу вам новые сени — окончил... Поговорим о жизни, будем рады...

Проходя мимо его дома, по пути к своему, я было шагнула зайти к жене его — сказать, что он так. Или не надо? Обижу его, — та разлетится туда, а он совсем в норме, и я ведь сказала, что еще добавлять — опасно... Зачем в семью соваться? Что пьет — она знает, каждый день может где-то засесть и вовсе без памяти... А он умом — трезв, к чему объяснения с женой? Вечно я в чужие дела лезу, «спасаю», когда вовсе не надо...

Вечером Полтава не зашел, допоздна доносился стук с его огорода — кантовал бревна. А наутро пришла женщина с вестью, что умер ветфельдшер, — помощник жив, но болеет, а его нашли мертвым в ветеринарке! Сменный заходил вечером и наткнулся на помощника, лежащего, и его отходил. А того — не увидел... Жалость какая! Вот дела...

Сердце заняло всюю: значит, *надо* было зайти, сердца послушаться, а не ума, — проклятые рассуждения! Беяна, о которой он о дозе заботился, еще жива, а он... Себе не думал о дозе! Пролежал, незамеченный, в дальнем углу барака, темно было, сменный не знал, что он тут, было поздно, он увидел, что барак не на замке, и зашел. Занялся тем, кто меньше хватил, — вот ведь судьба! На него наткнулся, а о том, кто, может, еще умирал, мысли не было, тот должен был давно быть — дома... Бранил помощника — и спасал. Спас. По рассказу того, умерший куда больше принял хлоралгидрату: «Я уж не хотел, говорю — брось, хватит, а он — еще да еще... Все забыться хотел — вот и забылся, насмерть...» Все жалели погибшего: хорош был человек.

Жена убивалась. Я не находила себе места. Вечером к нам пришел Полтава. Сел у печки, сняв с кудрей кепку, потер руки.

— Дурак был, что умер! Меры не знал. Я таких людей не жалею.

— А он кошку пожалел... Добрей тебя был! А ты, Леня...

— А меня кто жалел? Мать, понимаете, мать не пожалела!..

Поник, кудрявую голову в руки, опершись о колени локтями. Пили чай. Невестка моя Нина говорила:

— Ты, Леня, чудить брось, иди снова в нашу артель, и ссуду дадут, и скорей дом кончишь... Очень гордиться любишь — а дети без молока! Тебе всего раньше надо на корову работать! Без коровы тебе — никак!

— Знаю... — отвечал Полтава, — к мужику нанялся, лес ему вывозить. Из-за больной спины ведь ушел я с артели, а бригадир, паразит, не верил...

— Не ругайся! В мае Вера родит — четвертый. Об этом ты думаешь? Ругаешься все?

— Как не ругаться? Я согнуться не мог, а он... Потеплеет пойду в артель. Дом надо кончить, переберусь с девчонками, тогда...

— Дом у тебя дворец, что говорить!

А потом смеялись, Полтава шутил, в карман за словом не лез никогда.

— Пойти к соседу, в баке помыться, звал, — встал он и взял кепку.

Наутро, в воскресенье, в избу вбежал внук Геля, бледный:

— Полтаву зарезало! Под тракторные сани попал... В больнице! Сказали, умрет.

Бежала соседка:

— Люди видели — вскочил в сани-то, мужик уж сидел! Тракторист не видел, что Ленька сесть не успел, дал знак трогать — он и провалился меж перекладин-то, санями его прокатило. Выругался матом — теперь из меня, мол, толк кончен... Позвонки, говорят, с первого по седьмой!

Шла, еле двигая ноги, Вера. Умывалась слезами, шалью стирала с лица.

— Ты не плачь, — сказала Нина, — а звонить в город надо!.. На самолете его...

— Звонили. Сказали, без пользы. К вечеру помрет, — захлебывалась плачем Вера. — *Пальчиком* двинуть не может! Все Валю зовет, меньшую... Меня, говорит, кольцом прокатило, спину-то! Будто и сейчас круглый! Врач сказал, от ног опух пойдет, как до сердца дойдет — конец...

— Ровно знал, что помрет, — дом-то как спешил строить... Почитай, кончил... Все бабе полегше... — говорили соседи.

Алексей Полтава (оказалось — не Леонид, никогда не спорил, когда так звали) прожил еще полтора суток. Боролся! Поясняли так: головной мозг был цел, сердце работало. А ведающий движениями спинной был вскрыт. Он лежал совсем неподвижно и медленно умирал. Вера была при нем. Я что-то носила, тщетно, в больницу, редкое какое-то лекарство, московское...

В гробу он лежал — прекрасный. У гроба — жена и три девочки, ее мать. В мае Вера родила долгожданного сына. Назвала Алексеем. Как его ждал Ленья!

Горькое утешение, горькая услада удалась друзьям: в осиротевший дом, где скоро, опоздав увидеть отца, родится ребенок четвертый, заместитель его, хозяин, долгожданный сын! — ведут большую белую козу. Беляну! Молоко у ней — что мед... Вместо задуманной Леней — коровы...

На сельском кладбище меж старых кедров две свежие могилы рядом: Петра — Алексея...

Как жалел о смерти Лени мой сын Андрей, только один раз его у нас увидавший, но так хорошо, дружески с ним поговоривший глубоко в ночь...

ГЛАВА 31. НАЧАЛО РАЗЪЕЗДА. СЫН

Долго собиралась и вот — собралась уезжать и старушка Ольга Семеновна. Услышав об этом, так расплакалась Рита, что невозможно ее было утешить. Нечем! Уезжало самое доброе, самое терпеливое, самое ласковое из того, что довелось встретить ей в ее почти семилетней жизни. Ни заменить, ни отвлечь, ни утешить. Растерянная, такого не ожидавшая, я нашла в своем арсенале только одно, горькое, утешение:

— Если ты перестанешь плакать, мы пойдём ее провожать — туда, где вы три года назад с мамой сошли с самолета, — на аэродром! Хочешь? Или не хочешь?

— Хо-чу... — захлебываясь слезами, кричала Рита.

И мы пошли.

Мы еще поспели, почти бегом через лес пробираясь, боясь опоздать. Она увидела нас и бросилась навстречу. На ней было что-то странное надето: широкое и длинное, какое-то пальто-крылатка. Похожее я когда-то, в детстве, видела на тарусском земском

враче, моем дяде, когда он в дождь садился в тарантас ехать в деревню к больному. И еще — на монахинях в Страстном монастыре, в раннем детстве. Ее звали. Она метнулась назад, потом к нам, схватила свою корзиночку, люди толклись, кто-то плакал, кто-то смеялся. И Рита смеялась! Она не понимала, что это уже посадка, что вот сейчас... Она видела свою волшебную подружку, та целовала ее, совала что-то в руку... Все произошло так быстро — загудело, как мельничные крылья, взметнулось — и уж самолет, как гигантский кузнечик, бежит по земле, поднимется... И опять отчаянные слезы! Мы одни — и осенний лес... Недолго продлилась наша переписка, болезнь груди гнула ее и согнула. Худенькая, длиннолицая, в светлом (зимой — темном) платочке, некрасивая, улыбчивая, с тихим весельем в глазах, она стоит в памяти на фоне своей крошечной крутокрышей избушки посреди большого огорода — рядом с кладбищем, среди кедров и елей — огонек маленького окошка согревал суровый пейзаж...

Стоит автомашина, и Тоня подсаживает Капу... Последнее объятье, слезы разлуки... Она одна в «вилле на Рейне»...

Должно быть, именно в эти дни отъездов Игорь передал Рите маленькую фотографию-удостоверочку — или чуть больше удостоверочки? Она будет долго жить в альбоме фотографий Ритино детства, когда Рите будет уже 15, 20 и 25 лет... Может быть, в 30 — как тогда было Игорю — она перелистает альбом, и ей в глаза попадет эта, чуть больше удостоверки, фотография молодого мужчины восточного типа. Удлиненный овал, нос с горбинкой, взгляд гордый и сладостный, как в иллюстрациях в «Шехерезаде», и немного прочтет взрослая Рита возле этих губ — чего-то — скорбь, что ли? «Ах, это было в военное время...» — вспомнит она.

Отогнув, сколько позволит вверху клей, держащий карточку не слабее, чем это делает память, она прочтет: «Моей милой юной поклоннице Маргариточке...» Подпись — стерта, на нее сверху попал клей!

...Прослушав эту страничку, замужняя Рита сказала:

— Ты не сумела дать *силу* того чувства... Оно ведь и до сих пор не повторилось. Это не ложится в слова!

В отъездах, охвативших наше село, одним из самых видных, хозяйственных, обстоятельных, самым, может быть, видным был отъезд сестер с фамилией немецкого сказочника. Самым уютным отъездом! Они возвращались туда, где у их родных все уже было вновь устроено, где в просветлевшей стране нужны были совсем другого тона силы, чем те, что они употребили здесь, чтобы строить маленький макет жизни. Годы прожили они почти в сказочных усилиях воссоздать хозяйственность, сытость, осмотрительность дней, потрудились в них, как пчелы над ульем, и, медом своим прокормившись, весело и умно распродавали все хозяйственные принадлежности, составлявшие опору лет. Так ко мне попала сложная самоделка (с заказом кому-то металлических частей, большая, в полтора раза больше уличного станка точильщика), сложная машина — картофеле-, нет, не «чистка», потому что она терла картошку для крахмала, кто ее знает, как она называлась? Она состояла из станка, широкой проволочной гребенки, как для волос великана, и, овладев ее техникой, я перевезла ее к себе (*как* везла я, увы, — может быть, от волнения, перекрывшего перевоз, — не помню). И я стала тереть картошку. Помню

детское увлечение производством крахмала, противни (их мне делали из тонкого черного железа, где сох промываемый до белизны крахмал, и весь дом, заполненный киселями (когда не из чего было — из чая, из сока черного хлеба, из любой подсахаренной и подкисленной жидкости). Но сестры Г. уезжали. И к ним шли и шли оставшиеся и уносили тайны их мастерства; ежедневно ходила и я и уносила посильные покупки, из которых каждая остроумно (как в журнале «Труд и забава», мне когда-то выписываемом родителями) разрешала домашними способами трудные коммерческие проблемы, и мой дом, сам почти на колесах, принимал ежедневную хозяйственную помощь, в которой сливались забава и труд.

Сестры, уезжая, встречали меня, оставшуюся, приветливо, и я сроднилась с ними за эти дни. Было непонятно, почему мы не сошлись — раньше, они, так охотно учившие — всех (в мою вечную жажду учиться!). Но они уезжали, и я не забуду их уезжавших: строгую и приветливую, высокую и худую старшую, ее точный профиль и аккуратную, на пробор, седую — еще не совсем — прическу, и младшую, полную, добродушную — с проседью (обе в фартуках), сажавших за чашку чаю даже среди разгрома.

ЭПИЛОГ

Мы ждали вести от ее отца, что он устроился прочно, — чтобы (как он настойчиво советовал) продавать дом и ехать. А сердце — сжималось... Уже два года мы в этом доме...

Разве позабудешь свой огород, огромный, пышный, растущий, окруженный леском шелестящей кукурузы, где уже зреют початки... Зеленеющий и желтеющий разноцветной красой различного, словно птичьего, оперенья, — рощи гороха сахарного, приземистый лесок «ползунка», причудливые очертанья (что-то от бабочек) фасоли с хризолитового цвета стручками; резную зелень морковных гряд (скоро она вспыхнет огненными стрелами!); матовую цветную капусту и малахитовые кочаны простой (наливаются, стараются, хотят наградить — за горькую потраву первого лета!). А репа, а брюква, а черная редька, а белая свекла, из которой я в первой избушке моей гнала патоку взамен сахара! А кольраби, а болгарские перцы, а помидоры — ужели мы все это покинем и будем жить в г о р о д е?.. Выстраданный колодец — пять метров глуби! — рубленый, с крышкой! Перестанем понимать все, забудем. И наши тридцать два куста ягодных, последний свой «Ритин садик», Рита забудет... как паслась в красной и белой смородине и в малине меж широко шумящих тополей, за семь моих лет тут выросших из Светланиных прутиков... Продадим Нинину будущую коровушку, черную с белым нетель... Не будем кормить кур... Петух не пропоет больше! Крик петуха, еще в детстве, как и тут заново, зазвучавший, смолкнет...

Прошло два года с самого начала разъезда и более полугода с приезда ко мне сына. Ему удалось устроиться в том самом маленьком городке Салавате, о котором он нам говорил. Теперь он звал нас. Наступал и наш отъезд!

Я шла на улицу Куйбышева. Все было как будто бы то же, и все же неуловимо — другое... Я уж была не та — не этих мест житель... *чужая* уж, вот что! Шла, приглядывалась, оживала и умирала, страшилась встречи с Феей (ведь — *узнает!* Как оторвусь?!).

Вот дом, где жил Басов Василий Иванович... Я иду пустырем... Мой плетень!

Но что случилось со мной, когда я, обойдя его дальний угол, угол моего бывшего

огорода, увидела, что он снесен там, где был «Ритин садик» с посадками роз! Что — сердце замерло, — где стояли кусты роз, которые весной должны зацвести (Лёрины, розовая и красная, обвязала веревочками, на зиму приготовив, молоденьких), — столько труда! столько радости ожидания, прервавшейся внезапным переездом, — ровная земля, столбики для ворот? Въезд? Стою и реву, тихо... Меня утешило смущенное горе Лембита Йохеллеса, схватившегося за голову! Если б он знал! Не понял, не разобрал в спешке, в перепланировке участка... Жена и он — да все эстонцы! — так любят цветы... Я — утешала!

В жаркий летний день вошли к нам на Первомайскую покупатели: старички, муж и жена. Длинная белая борода истово поклонилась.

— Нынче Петров день, сегодня мы познакомимся, для обговора, а завтра придем договор подписывать.

Худой, очень старый, он имел деловой вид. Жена, низенькая, вся — коричневая — и лицом и платьем, улыбалась всеми морщинками, уютом подходящей к случаю улыбки. Цены с каждым днем падали, и купленное два года назад за две с половиной тысячи (дореформенными деньгами) с ремонтом на еще полтысячи сейчас шло за тысячу девятьсот.

Как — недавно — старушки-сестры, так мы теперь, пытались продавать хозинвентарь — не покупали. Почти все переходило из дома в соседний дом, к Вере Полтаве. Сыну Лениному, будущему хозяину, было теперь полгода. На козьем молоке он рос крепышом. Старшую, Тоню, немую, определили в областное заведение для глухонемых. За Алешей смотрела четырехлетняя Шура; Валя еще была мала. Соседний с ними дом — доктора В. — стоял тоже осиротелый. Я пошла на кладбище — проститься с дорогими могилами — Якова Ивановича, Лени Полтавы, ветфельдшера Петра Иванова. Остановилась над широко развалившимся холмом — поправить некому — Парфена Никитича, Русланова хозяина. Странно, что я не помню могилы Тобиаса Яковлевича, — не могла я ее позабыть!

Но жить спешила. Уже не было ни красавицы Кармен — Аси (уехала с родителями на родину), ни Вити — он уж давно был с бабушкой своей молодой у еще более молодой матери. Их отъездами нам подготовлен путь — отрываться. Лошадь, к железной дороге везущая наш багаж, трусит рысцой, а мы оглядываемся назад, где столько оставляем, навсегда поселившееся в сердце. Ритиных глаз не видно, один блеск слез...

Цветаева А. И.

Ц 27 Моя Сибирь: Повести. — М.: Советский писатель, 1988. — 288 с.

ISBN 5-265-01017-3

В новую книгу Анастасии Цветаевой, младшей сестры Марины Цветаевой, вошли три повести: «Московский звонарь», «Моя Сибирь», «Молодость и старость».

Эта книга является продолжением широко известной книги воспоминаний Анастасии Цветаевой, вышедшей несколькими изданиями и привлечшей к себе внимание читателей и критики.

4702010201-451

Ц-----Без объявл.

083(02)-88

Анастасия Ивановна

Цветаева

МОЯ СИБИРЬ

Редактор М. И. Самойлова

Художественный редактор Н. С. Лаврентьев

Технические редакторы Р. Я. Соколова, Н. В. Сидорова

Корректор С. И. Крягина

ИБ № 7308

Сдано в набор 06.09.88. Подписано к печати 22.11.88. А 03323. Формат 84х1/32. Бумага кн. журн.

Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. Л. 15,12.

Уч.-изд. л. 15,16. Тираж 200 000 экз. (1-й з-д 1 — 100 000 экз.). Заказ №620. Цена 1 р.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель».

121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР

по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,

300600, г. Тула, проспект Ленина, 109